антология
пермской
литературы

Константин
МАКСИМОВ

СИНИЕ ОКНА

повесть, рассказы

14+

Серия «Антология пермской литературы» —
лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства
(номинация «Литература») за 2013 год

Издание книги Константина Петровича Максимова «Синие окна» и подготовка её электронной версии осуществлены в рамках проекта «Пермская библиотека» при поддержке Министерства культуры Пермского края (https://mk.permkrai.ru/) и при содействии Пермской краевой общественной (профессиональной) организации Союза писателей России.

том тридцать седьмой

Константин
МАКСИМОВ

СИНИЕ ОКНА

повесть, рассказы

«Литератор Прикамья»
Пермь • 2025

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2=411.2)6-44
М17

антология пермской литературы • том 37

Максимов Константин Петрович
Синие окна
повесть, рассказы

Максимов, Константин Петрович.

М17 Синие окна : повесть, рассказы / Константин Максимов; ил. Полина Ерёмина. — Пермь : Литератор Прикамья, 2025. — 288 с. : ил. — (Антология пермской литературы; т. 37).
ISBN 978-5-6052610-2-5.

Книга художественной прозы писателя-фронтовика, инвалида Великой Отечественной войны К. П. Максимова – это концентрация оживших воспоминаний о предвоенной юности, страшного народного горя военных лет, упорных жестоких боях с нацистами, неутихающей душевной боли о погибших товарищах фронтовиках и фронтовичках...

Режущая правда жизни, эпизоды смертельной опасности, сущность конфликта столкновения с человеконенавистнической идеологией и острое неприятие обывательской пошлости, подлости, приспособленчества... Всё развёртывается в безукоризненных многослойных сюжетах и психологически точно.

Вера в народ, в непременно светлое будущее Родины является неколебимой в главных героях повествований Константина Максимова.

Для читателя старше 14 лет.

ISBN 978-5-6052610-2-5

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2=411.2)6-44

© П. Т. Ерёмина, иллюстрации, 2025
© Пермская краевая общественная (профессиональная) организация Союза писателей России, 2025

СИНИЕ ОКНА. Повесть

Глава 1

Мой сын Гошка не поехал со своим классом копать картошку в колхозе. Мать всему виной. Вообразила, что там он простудится, схватит грипп, пневмонию и чёрт-те что...

Соня — медик. Ей везде мерещатся бациллы, микробы и прочая дрянь. Послушаешь её — жить на свете не стоит. Везде тебя подстерегают стрептококки, эхинококки и тому подобная петрушка. Соня сводила Гошку к знакомой врачихе, та настрочила справку, мол, так и так, ученик седьмого класса Георгий Софонов болен ангиной, а потому копать картофель ему противопоказано. И вот мы сидим с Гошей дома. Я — потому, что сегодня воскресенье, а Гоша — в качестве болящего. Соня же у нас на дежурстве в больнице.

На улице действительно прохладно. Низкие, прохладные тучи, ветер. Шуршит изредка по стёклам бисер дождя. В такую погоду у меня зверствует культя левой руки. Потерял я руку на Орловско-Курской дуге. И вот когда настаёт дождливая погода, у этой культи просыпаются несуществующие пальцы. По ним бегают мурашки, маленькие и злые. С нервами что-то. Сейчас у меня ужасно чешется между несуществующим средним и указательным пальцами. Я тереблю пустой рукав, мну культю, потом ложусь на неё. Придавишь культю — ощущение пальцев постепенно исчезает и ничего больше не чешется.

Гошка с перевязанным горлом торчит у окна в соседней комнате, караулит, когда мимо дома поедет его класс. Парню явно не хочется сидеть дома в качестве мнимого больного. Но что поделаешь — мать! Соня уродует его медленно, но верно,

а я постепенно воюю с ней из-за этого. При таких стычках она приводит один и тот же довод:

— Конечно, он тебе неродной.

И я замолкаю. Да, Гошка мне неродной. Для него я — дядя Яша. Подружились мы с ним лет десять назад, когда была жива моя первая жена. Четырёхлетним карапузом он частенько захаживал в нашу комнату. Как-то жена протянула ему вазу с конфетами, малыш мигом всё сгрёб себе в подол.

— Весь по матушке! — заметила супруга. — Посмотрел бы, какая она мелочная да жадная. Жуть! Ставку в больнице получает, да полставки в медучилище, да приёмы ведёт.

Потом Гошка пошёл в школу. Учился не блестяще — ленился. Ловко исправлял в дневнике двойки на тройки и четвёрки, за которые требовал с матери рубли. Потихоньку курил. А однажды, в пятом классе, заявился домой выпивши. Его всю ночь выворачивало. Соня охала, вызывала скорую помощь, а наутро побежала в милицию с заявлением на учителей школы.

И всё же Гошка мне нравился. Он постоянно вертелся около меня — то помогал мне, однорукому, чинить велосипед, то мы с ним возились с радиолой.

После смерти жены мы как-то пошли с Гошкой на рыбалку. Не помню уж, о чём у нас разговор вёлся, только он вдруг произнёс мечтательно:

— Вот если бы Вы были моим папой! — и покраснел как помидор. Мечтал, видимо, парень об отце. Соня была мать-одиночка. Гошка у неё появился после курорта.

— А твоя мама захочет, чтобы я был твоим папой?

Гощка покосился: не смеюсь ли? Убедился, что нет, заколебался, засмущался и брякнул:

— Позавчера к нам Марь Степановна приходила. Я слышал, как на балконе они с мамой разговаривали. Мама сказала про Вас, что хоть бы посватался. Тогда бы у нас полная квартира была. В вашей комнате она устроила бы спальню, а в нашей гостиную.

Я закусил губу, чтобы не расхохотаться. Это на Соню похоже! Господи, сколько ещё вокруг нас таких Сонь! Менялись эпохи и правительства, а они оставались, как нечистая пена на воде.

Когда из нашего цеха, где я работаю нормировщиком, собрались удрать к себе в Киев два молодых инженера, то наш начальник всенародно стыдил их, даже стучал кулаком по столу. А когда его дочку направили работать в Сибирь, он обегал всё институтское начальство, слетал в Москву. И вот сидит сейчас дочка нашего начальника в заводоуправлении возле телефона, собирает сведения о выполнении цехами суточных планов да ногти пилочкой шлифует.

Я решил жениться на Соне. Ради Гошки. Не хочу, чтобы новый урод появился на земле.

Сейчас Гошка уже не трясёт с матери рублей за отметки, в автобусе уступает старикам место, бросил курить. Это я его отучил. Повёл в фельдшерское училище, попросил показать муляжи лёгких. Поставили перед нами две банки с заспиртованными человеческими лёгкими. В одной — лёгкое некурящего. Оно бордового цвета. А во второй — табакура. Это лёгкое с фиолетовым оттенком, осклизлое. У Гошки даже рот открылся от удивления.

— Между прочим, — сказал я, — настоящие боксёры, борцы и легкоатлеты не курят. Никотин забивает бронхи, и спортсмены задыхаются на соревнованиях.

Сейчас на повестке дня — ложь. Врать Гошка учится у матери. Кажется, у Чехова есть утверждение, что ложь разъедает душу. Это здорово верно. Гошка врёт, часто не замечая сам, но я его быстро разоблачаю. Увещевания и нотации здесь бесполезны. Я их сам не люблю.

Сегодняшняя история с горлом напомнила мне одного человека, а заодно далёкое детство.

С улицы послышались топот и ребячьи крики:

— Гошка, идём с нами! Хватить придуривать!

— Горло болит! — орёт Гошка и стучит по стеклу.

Ребята прошли. Гошка листает какую-то книгу. Потом подходит к магнитофону, включает дикую мелодию. Выключает. И вот появляется на пороге. Тёмноглазый, русый. Он усаживается у меня в ногах, спрашивает:

— Болит?

— А у тебя?

Мальчишка моментально отводит взгляд, морщится, бубнит озадаченно:

— Болит немного!

Минута молчания.

— Ты как Витька Шибанов, — говорю я задумчиво. — Был у меня такой приятель. Учились, потом воевали вместе.

Гошины глаза мгновенно загораются. Парня пряниками не корми, только расскажи про войну. Глупыш! Думает, что это романтика. Будь она проклята! У меня Гошке уже нечего рассказывать. Всё давно выложил. А вот про Витьку...

— Вот что, орёл! Нагрей-ка воды да налей в грелку. Приложу к культе. Может, полегчает. — Не успеваю захлопнуть рот, Гошка уже на кухне. Гремит ковшом, шлёпает грелкой.

Благодатное тепло расползается по нерву, боль тупеет. — Ну слушай да мотай на ус...

* * *

Представьте себе небольшой районный городок. В нём школа, клуб, больница, МТС*. В пяти километрах протекает Волга. Кругом дубняк, сосны, липы. Извиваясь, к городку подбирается речка Утка. Эта Утка имеет одну особенность. Впадает она в Волгу, но в мае-июне, когда Волга разливается, вода в Утке течёт в обратную сторону и затопляет всё окрест. В затопленных распустившихся лесах по утрам состязаются соловьи.

Слушать соловьёв хорошо у нашей школы. Её двухэтажное здание с балконом стоит над кручей, с которой далеко видны зелёные купы затопленных рощ, лодки с влюблёнными, плывущие между деревьями, цветущие черёмухи.

...Стоял май — последний месяц учёбы в школе. А там выпускные экзамены, и прощай, школа. Конечно, грустно немного расставаться со школой и учителями. И вот в один из таких майских дней случилось следующее: ночью НКВД** арестовало нашего литератора и классного руководителя Сергея Ивановича. Об этом на большой перемене сообщила классу Дуся Рыжова. Дуся — коротышка. Но толстая и очень подвижная. Вот и сейчас Дуся ворвалась в класс и громким шёпотом, оглядываясь на дверь, объявила:

— Ребята! Сергея... Сергея Ивановича арестовали!

---

* МТС — машинно-тракторная станция.

** НКВД — Народный комиссариат внутренних дел СССР.

На мгновение стало тихо. Миша Шумков, наш отличник и комсорг школы, нахмурился, заморгал глазами под стёклами очков.

— Не может быть, — пробубнил он.

Вовка Зылёв — мой сосед по парте — перестал жевать горбушку пеклеванного хлеба, оторвался от книги, которую начал читать ещё во время уроков, изумлённо свистнул и... опять уткнулся в книгу. У Люси Вороновой — самой красивой девушки нашего класса — испуганно округлились глаза. Все были поражены.

Впрочем, не все. Когда Дуська выпалила эту сенсацию, я случайно стоял лицом к Витьке Шибанову. Витька сидел у нас обычно в углу, так как — это каждому школьнику известно — в углу удобнее всего во время урока заниматься разными посторонними делами. Витька на этот раз читал роман «Милый друг» Мопассана. Он как-то странно взглянул на Дуську и быстро опустил глаза на книгу.

— От кого узнала?

— В учительской подслушала. Туда за мелом ходила.

— Кто говорил? Что говорили? — затормошили со всех сторон Рыжову.

— Завуч Валентин Иванович говорил, что это всё из-за фильма «На границе».

В классе стало так тихо, что было слышно, как шелестят листвой за окнами клёны.

Из всех учителей мы, десятиклассники, больше всех любили Сергея Ивановича. Любили за беседы на эстетические темы. Начальство в школе, как говорили, было недовольно такой самодеятельностью. Мол, программой не предусмотрено. Но

Сергей Иванович считал, что вреда не будет, если школьники научатся мыслить не по учебникам.

Так было и в тот раз. Сергей Иванович отметил в журнале отсутствующих, вкатил Зылёву и Шибанову «посредственно», рассказал очередной материал, а когда до конца урока осталось пятнадцать минут, завинтил у авторучки колпачок (класс во время этой операции облегчённо вздохнул) и спросил:

— Кто смотрел фильм «На границе»?

Руки подняли чуть не все.

— Итак, как условлено: вам две минуты на изъявление чувств и восторгов, вызванных фильмом, мне пять минут — на обобщение. Говорить кратко, но конкретно. Кто первый?

Фильм «На границе» я видел, но выступить не решился, так как сам не мог ответить, хороший фильм или плохой. Когда мама меня спросила о нём, я ответил «ничего». В этом фильме рассказывалось о жизни пограничников. Конечно, и про любовь немного было. Нашу границу переходит целый отряд самураев. Мне понравилось, как пограничники с винтовками наперевес по тревоге выскакивали в окно. У себя дома я попробовал так же выскочить в окно. Но треснулся лбом о раму и два дня ходил с шишкой. В заключительных кадрах начальник заставы лихо отбивается саблей от целого отряда японцев с винтовками.

Во время кино я сидел рядом с братишкой Волькой. Волька вопил в упоении на весь зал: «Так их! Р-р-раз! Ещё дай!» Я щёлкнул братишку по затылку, чтобы вёл себя прилично, а сам подумал, что самураям начальника заставы убить не удастся. Так и вышло! Они его ранили, разумеется, легко и, разумеется, в левую руку (всех героев сцены и кино во время схваток почему-то

всегда ранят в левую руку, реже — в голову). Зато этот начальник напластал врагов целую кучу.

...Своё мнение по фильму «На границе» высказало несколько человек. Кинокартина в основном понравилась, но все считали, что ей далеко до таких, как «Мы из Кронштадта» или «Чапаев». С этим я был абсолютно согласен. «Чапаева», например, я смотрел четыре раза.

Но вот встаёт Сергей Иванович. Высокий, слегка сутулый, с блестящими серыми глазами. Класс замирает. Я боюсь пошевельнуться, я досадую: многие мысли Сергея Ивановича совпадают с моими. Ну почему я не выступил? Ведь я тоже думал, что схватка пограничников с самураями выглядит неестественно, а сцена в доме девушки, к которой ворвались японцы с винтовками, просто смешна. В самом деле, девушка милуется со своим связанным любимым, бросая на врагов презрительные взгляды, а те стоят, как дураки, глазами хлопают. По воле режиссёра они «забыли», что находятся на чужой территории, что наши пограничники уже оцепляют дом. В общем, лопухи, а не враги.

Зазвенел звонок. Сергей Иванович ушёл, а в классе всё ещё спорили о фильме.

И вдруг — Сергей Иванович арестован.

Я подошёл к Мише Шумкову.

— Послушай, а что, если нам всем классом идти в НКВД, всё объяснить и просить, чтобы отпустили Сергея Ивановича?

Миша тряхнул чубатой головой:

— Это, брат, дело!

Кругом одобрительно загалдели: «Пошли!», «Правильно!», двинулись к двери, но там неожиданно вырос завуч Валентин Петрович. Галстук у него сбился, волосы взъерошены.

– В чём дело? Куда? — фальцетом воскликнул он, растопыривая перед нами руки. — Сейчас же на место!

Валентина Петровича в школе недолюбливали, звали белоглазым. Он преподавал историю, говорил длинно и скучно — уснуть можно. Наизусть выучивал не только цитаты из произведений вождей, но и целые абзацы из «Краткого курса истории партии». Всё боялся, что ученики не так поймут и он будет иметь неприятности.

— Мы решили выручать Сергея Ивановича! — заявил я.

– Кто вас уполномочивал? Сами? Сейчас же по местам! Во всём разберутся без вас. А вы, Софонов и Шумков, пожалуйте в кабинет директора.

Директор у нас давно болел, и в школе всем заправлял Валентин Петрович. Едва мы очутились в кабинете директора, Валентин Петрович, уставившись на Мишу своими белыми глазами, с расстановкой, точно диктант диктовал, сказал:

— Вы как комсорг проявляете политическую близорукость!

— Но мы... — начал я.

— Я говорю не с Вами! — оборвал меня завуч, и даже шея у него покраснела от негодования. — Вы плохо воспитаны, Софонов! Так вот! С Сергеем Ивановичем разберутся без вас. Не суйтесь, куда не следует! Ваше дело — не получать плохих отметок. Кстати, Вам, Софонов, я с большой натяжкой поставил «посредственно» за последний ответ.

Вот за это я особенно не любил «белоглазого»: обязательно надо подковырнуть. Я уже открыл рот, чтобы выпалить: ну и ставьте «плохо»! Но Миша ткнул меня незаметно в бок: молчи! В общем, вышли мы от завуча — я злой, как чёрт, а Миша хмурый, как день ненастный.

На речке Утке есть у нас с Мишкой заветное местечко. Над кручей нависла ветла с дуплом у комля. В этом дупле можно сидеть вдвоём, как в кресле, слушать шёпот листьев, швырять камушки в воду и о чём-нибудь беседовать. Сюда редко кто заглядывает. По косогору тянутся репейник и крапива, режут воздух ласточки.

— Ну вот ты как считаешь: Сергей Иванович виноват или нет? — спросил я. — Только откровенно.

— Что за вопрос? — удивился Миша. — Конечно, нет. Тут явный перегиб. Но меня вот что смущает: кто донёс на литератора, оклеветал.

Фу ты, чёрт! Мне ведь эта мысль в голову совсем не приходила!

— Это кто-то сделал из нашего класса, — продолжал Миша. — Учителя любят Сергея Ивановича, многие одобряют наши диспуты. С Валентином Петровичем, правда, у них не всегда совет берёт. Но завуч трус. Допустим, он сообщил в НКВД, его же и спросят: а почему вы раньше не сигнализировали?

И тут я вспомнил Витькино лицо, когда вбежала в класс со своим сообщением Дуся.

— Шибанов донёс! — воскликнул я. — Он!

— Это ты так-то про своего дружка?

— Какой он мне дружок! Выдумал! Да это такой прохиндей! Ты его ещё плохо знаешь!

Но Шумков только махнул рукой и не стал слушать.

— Иди-ка ты к аллаху! Витьку я прекрасно знаю. Уж если кто накапал, то скорее Вовка Зылёв. Он в конфликте со всеми учителями. Вообще какой-то чокнутый.

Я плюнул в досаде.

Миша поднялся, отряхнул брюки и сказал:

— Вот что! Давай напишем в Москву товарищу Сталину о нашем Сергее Ивановиче. Ведь Сергей Иванович возглавлял у нас культурную революцию. Приходи вечером к нам.

Честное слово, Миша — гений! Недаром он у нас и комсорг, и редактор школьной стенгазеты, и отличник. Но мне досадно, что Шумков не верит. Он, конечно, не знает Витьку Шибанова, пусть не хвастается. Вот уже который раз я сталкиваюсь с тем, что мне не верят, когда начинаю рассказывать о Шибанове. Однако вас надо ближе познакомить с Витькой Шибановым.

Глава 2

Витьку Шибанова я знаю с седьмого класса. Пятистенный дом под зелёной крышей, в котором он живёт с отцом и матерью, стоит к нашему дому задом, а сады граничат. На обеих усадьбах покачиваются антоновки, белые наливы, гнутся под ветром вишни.

Мне всегда казалось, что в соседнем саду антоновка слаще, чем в нашем, и я изредка лазил туда за яблоками. Лазил без особой осторожности, так как дом был казённый. В нём проживали разные ответственные товарищи.

Последний раз в нём жил горвоенком. Он любил охоту и рыбалку, за садом не ухаживал. И вот когда я однажды в августе полез через забор в сад за антоновкой, то столкнулся со стройным мальчиком с волнистыми волосами. На незнакомце была голубая рубашка и невиданные в наших краях белые брючки. Мальчик жевал яблоко и спокойно наблюдал, как я крадусь к яблоне. Второпях этого франта я даже принял за соучастника.

— Дуй, пока не зашухарили, — посоветовал я ему.

Но мальчик не шевельнулся.

Я с опаской покосился на окна дома. Там висели тюлевые шторы, каких не было у военкома. Стало ясно, что жильцы сменились.

Так состоялось моё знакомство с Витькой. На лицо он был смазливый, большеглазый, но какой-то весь волнистый. И нос у него был волнистый, и волосы, и вся фигура какая-то вертлявая, словно на шарнирах.

Через полчаса я уже знал, что Витька с семьёй приехал из Москвы, что его отец инженер, которого послали в нашу МТС, а мать артистка, но нигде не работает. Забавно акая, он пояснил:

— Папахен и мамахен у меня мировые стариканы. Пошли к нам.

И дружески обнял меня за плечи. Шагая с Витькой по тропинке, я уже представлял себе его родителей — двух морщинистых старичков с добрыми улыбками. Но когда переступил порог дома, был поражён: на табуретке с молотком в руках стоял загорелый до черноты мускулистый мужчина в майке, а рядом — белокурая розоволикая женщина с пышным бюстом. Оба были моложе моих родителей.

Витькин отец приколачивал гардину с прицепленными к ней портьерами, а мать держала эти наглаженные портьеры за концы и озабоченно покрикивала:

— Не изомни, медведь!

Увидев меня, она мигом сделала улыбающееся лицо и воскликнула, акая:

— О, Витенька уже успел завести друзей! Тебя как, мальчик, звать? Яшей? Какой чудесный мальчик!

Витька повёл меня в комнаты показывать коллекцию открыток. Проходя мимо трюмо, я успел заметить в его стекле, что Витькина мама с хмурым лицом разглядывает мои босые, пыльные ноги. Я испуганно обернулся — лицо у неё по-прежнему приветливо улыбалось. У меня появилось ощущение, что в зеркале отражалась одна женщина, а с портьерой стоит другая. Витька сразу сообразил, в чём дело.

— Идём, чего там! — дёрнул он меня. И в знак презрения к плюшевым половикам ловко цвикнул на них слюной сквозь зубы.

— Витенька! — с упрёком, нежно простонала его мамахен.

— Витенька! Тварь бессовестная! — крикнул папахен. — Ох, доберусь я до тебя!

Это «доберусь я до тебя» мне приходилось слышать все годы моего знакомства с Витькой Шибановым. Вообще Витькины родители частенько схватывались по вопросам воспитания сына.

— Пойми, что ты портишь мальчишку, — устало убеждал Гортензию Егоровну супруг. — Лоботряса растишь. Ты хотя бы Макаренко читала?

— Не твоё дело! — следовало в ответ. — Занимайся своими тракторами, копайся в грязи, если ума нет.

— Если так все будем рассуждать, то социализм никогда не построим, — заявлял Геннадий Петрович.

— Да плевать я хотела на твой социализм! Мануфактуры в магазинах нет, с хлебом перебои! Круглым идиотом надо быть, чтобы ехать в эту «дыру»!

«Дырой» Витькина мать звала наш Средневолжск. Была она, как я узнал потом, единственной дочерью доктора технических наук, преподавателя московского института. В этот

институт после рабфака поступил Геннадий Петрович. Выучился, проявил себя как талантливый исследователь. Доктор оставлял его при кафедре. Геннадий Петрович женился на докторской дочке — студентке театрального училища. Но для МТС понадобились инженеры, туда поступало всё больше техники, и вот Геннадий Петрович приехал к нам. Я не раз бывал с Витькой у него в эмтээсовской мастерской. Меня восхищало, как он узнаёт «болезни» машин. Заведут, бывало, трактористы моторы, орут:

— Геннадий Петрович, ставь диагноз!

Геннадий Петрович в своей синей куртке, из кармана которой торчит логарифмическая линейка, выйдет из конторки, пройдёт вдоль ревущих машин и только пальцем тычет:

— У этого клапан второго цилиндра стучит, у того надо коренной подшипник менять, у его соседа — износ колец поршней первого и третьего цилиндров.

— Профессор! — восхищённо ахают трактористы.

Раньше я мечтал быть матросом. Но теперь твёрдо решил после школы учиться на инженера.

Витька свою жизнь вознамерился посвятить дипломатической карьере. В чём она заключается — Витька и сам толком не знал. Зато знала Гортензия Егоровна. Как-то я, Витька и его мамахен сидели в саду на траве и выковыривали косточки из вишен — готовились варить варенье. Гортензия Егоровна, мечтательно улыбаясь, рассказывала.

— Муж моей двоюродной сестры — советником в посольстве в Париже. Где он только не побывал! И в Лондоне, и в Риме, и в Токио. А какие прелестные сувениры он ей присылает!

— Что надо кончать, чтобы быть советником? — поинтересовался я.

— Для того, мой мальчик, существует специальный институт международных отношений, — охотно сообщила Гортензия Егоровна. — Там изучают иностранные языки, хорошие манеры. У дипломата должна быть безукоризненная биография. У Витеньки с этим всё в порядке. Со стороны Геннадия Петровича — славное рабочее революционное прошлое, с моей стороны — передовая мыслящая русская интеллигенция.

Я промолчал. Моя биография для дипломата не годилась. Во-первых, по немецкому я учился на тройки, а во-вторых, отец был мелким служащим, революционных заслуг не имел, любил выпить. А мама была обыкновенной воспитательницей детдома. Буду инженером. Это уже точно!

* * *

С первого дня своего появления в классе Шибанов покорил и учителей, и девчонок. Первых — эрудицией, а вторых — галантными манерами. Он не был выскочкой, поднимал руку, как все. Но если спрашивали, отвечал до того многословно и обстоятельно, что преподаватели не выдерживали, прерывали его и ставили в дневник пятёрку.

Самым хорошеньким девчонкам он в раздевалке всегда подавал пальто, нёс до дому их сумки, а потом, похохатывая, рассказывал, что у одной девчонки шея грязная, у второй — гниды в косичках.

— На кой шут тогда ты ухаживаешь за ними? — спросил я у него как-то.

— Мужчина должен быть рыцарем!

— Тогда не болтай, что видел, рыцарь!

Витька шмыгнул своим волнистым носом, сощурил глаза:

— Подумаешь! Да я с тобой как с другом!

Мальчишки к выскочкам, подлизам и девчатникам обычно относятся с насмешкой. Но Витьку уважали. Он охотно участвовал во всех мальчишечьих проказах, в его карманах всегда водились деньги, которые он раздавал направо и налево.

А деньги Витька выпрашивал у папахен и мамахен по определённой схеме. Вначале мы шли к его отцу. Утром. В это время Геннадий Петрович носился по мастерской или до хрипоты кричал по телефону. Мы носились вместе с ним, торчали у него в конторке. Изредка он оборачивался к сыну, бросал:

— Нет у меня денег, тебе говорят. Вчера трёшку давал? Давал! И достаточно. Не мешайся здесь. Без тебя дел по горло. Иди к матери.

Витька, подмигивая мне, канючил:

— Она не даёт!

— И правильно делает!

В конце концов Геннадий Петрович не выдерживал сыновьей осады, доставал бумажник, совал Витьке трёшку.

— В последний раз!

Из мастерской мы шли к Гортензии Егоровне. Она любила вышивать и часто сидела за этим делом на террасе в плетёном кресле-качалке, вытянув свои полные ножки. Витька подкрадывался к ней сзади и целовал в белую шею. Меня смешили эти телячьи нежности.

— Ну что тебе, сынуля? — говорила растроганно Гортензия Егоровна.

— Пять рублей!

— Я же тебе вчера давала, сынуля.

Сынуля издавал лёгкий свист, означающий, что денег тютю, и снова чмокал мамахен в шею.

— Ну возьми в моей сумочке. Только отцу не проговорись. Он опять мораль нам будет читать.

Ну на этот счёт она могла быть спокойной. Витька мчался в спальню и выуживал из недр материнской сумки две тройки.

Я заметил, что нехорошо обманывать родителей. Витька удивился и резонно объяснил:

— Во-первых, отец сам мне дал. Ты видел. Мамахен тоже сама велела взять. Разве я виноват, что в сумочке оказались одни тройки? А во-вторых, деньги существуют, чтобы их тратить, то есть относить в магазин в обмен на товар. Значит, я приношу государству пользу. Ты, Яшка, примитив, как я на тебя погляжу.

В девятом классе между нами с Витькой пробежала чёрная кошка. Шибанову купили «ФЭД». О таком фотоаппарате я даже не смел мечтать. У меня был пластиночный «Ученик». Но что это по сравнению с «ФЭДом»! Как телега с автомобилем.

Лето Витька провёл у деда на подмосковной даче. А когда в августе вернулся в Средневолжск, я его не узнал. Он загорел, раздался в плечах, говорил басом, стал курить, разговаривал о девчатах.

— Эх и провинция у вас по сравнению со столицей! — пренебрежительно заметил он, шагая с фотоаппаратом через плечо. — Пошли купаться.

А Утке у нас два облюбованных для купания места. Ближнее — с низким песчаным берегом, обросшее ивняком. Тут преимущественно купаются девчата и малыши. И дальнее — с крутым берегом и вековыми ветлами. С них хорошо бросаться в реку вниз головой.

И вот когда мы проходили мимо девчачьего места купания, Витька, услышав с реки голоса и плеск, хлопнул себя по лбу:

— Идея! Идём-ка их сфотографируем. Только — тихо!

Мы залезли в ивняк и чуть ли не по-пластунски добрались до берега, осторожно развернули ветки. Девчат было человек шесть. Все без трусов и лифчиков, они барахтались на мелководье и, как обычно, визжали. У меня во рту пересохло: я увидел Люсю Воронову. Люся стояла по колено в воде и отжимала тяжёлую косу. Она стояла вполубок, вся розовая, ослепительная. На её крупных грудях блестели капли воды.

— Яшка! — возбуждённо заметил Витька. — Я сейчас наведу аппарат, а ты брось камень в воду. Ох какой классный кадр получится! — хохотнул он, припадая к дальномеру. — Кидай!

На всплеск девушки, как по команде, испуганно повернулись лицом к нам. Щёлк затвора «ФЭДа», оглушительный визг, и вот уже одни только головы торчат из воды.

— Ой, кто там? Как не стыдно! Уходите! Бессовестные! — понеслось с реки.

Убегали мы незамеченные. Витька тростил, предвкушая:

— Какой кадр! Какой классный кадр!

А у меня перед глазами всё ещё маячило литое тело Люси.

— Ты мне дашь ка-а-рточку? — краснея и запинаясь, спросил я.

— Пожалуйста! Хоть десять могу отпечатать!

А спустя пару недель, когда уже начались в школе занятия, случилось следующее. Мы выпускали первый номер школьной газеты. Люся была у нас в качестве писаря, я — художник, а Миша Шумков — редактор. Сидели вечером в учительской за

огромным столом. Люся, обычно болтливая как звоночек, на этот раз была молчаливой и печальной.

— Чем она расстроена? — поинтересовался я у Миши, когда мы возвратились домой.

— Да понимаешь, брат, какое дело! Какой-то идиот сфотографировал человек пять-шесть школьниц голыми во время купанья и разослал им карточки. У одной восьмиклассницы мать вскрыла и чуть в обморок не брякнулась: дочь сфотографирована с голым мальчишкой. Дочь за косы оттаскала, а директору школы целый тарарам учинила. Видел я этот снимок. Ну, голый мальчишка вмонтирован. Но девчонки все до одной позируют. Валентин Петрович каждую вызывал, допрашивал. Кто их фотографировал — не признаются. Может, действительно не знают.

У меня перехватило дыхание:

— Это же Витька их щёлкнул!

— Шибанов? — Мишины глаза округлились за стёклами очков.

На педсовет пришли матери всех девушек, запечатлённых на фотографии. Вызвали Геннадия Петровича с Гортензией Егоровной. У меня пришла мама. Она сидела в углу, подавленная и расстроенная, и молчала. А мы с Витькой стояли у всех на виду, как два обвиняемых. Ну Витька ладно, действительно виноват, если можно считать преступлением фотографирование голых девчонок. Но я-то при чём? Что не удержал его? Что бросил в воду камень? Значит, соучастник.

Своего сынулю Гортензия Егоровна всячески выгораживала.

— Я не могу допустить мысли, чтобы он самостоятельно додумался до того. Тут, несомненно, сказалось дурное влияние

его товарища, — последовал небрежный кивок в мою сторону.

От её слов и своего бессилия я чуть не заревел. Спасибо Геннадию Петровичу.

— Не защищай своё чадо! — вступился он за меня. — Фотомонтаж с твоим голым племянником — это тоже, скажешь, влияние товарища? Ох, доберусь я как-нибудь до этого негодяя!

Супруги заспорили. Их еле угомонили. А моя мама только слушала и вздыхала. Эти вздохи, как раскалённое железо, жгли меня.

Директор школы и Геннадий Петрович большой крамолы за нами не усматривали. Считали просто озорством, особенно рассылку фотографий, за что следовало надрать уши. Такого мнения, видимо, были и учителя. Но негодовали белоглазый и мама восьмиклассницы.

— Если вы их не вышвырнете из школы, я буду писать в область, в центр! — шумела она.

Но вот слово предоставили Витьке. В учительской стало тихо-тихо.

— Я очень огорчён случившимся, — начал он убитым голосом.

И здесь он принялся врать самым беззастенчивым образом.

— Мы с Яшей фотографировали пейзажи, а затем решили снять купающихся девушек.

— Ты это решил, а не я, — вырвалось у меня.

— Софонов, помолчите. Вам потом дадим слово, — постучал завуч о стол карандашом.

Витька сделал паузу, покосился на меня и, усмехнувшись, сказал:

— Ну хорошо. Пусть будет по-твоему: я решил.

Сказано это было так, что всем стало понятно — решали мы вместе. А Витька в своей речи идёт на компромисс, делает, так сказать, благородный жест. Мы, мол, вместе решили голых девчонок фотографировать, но если тебе это не нравится, что ж, возьму всё на себя. Я теряюсь, когда сталкиваюсь с наглой ложью. И тут у меня тоже отнялся язык.

— Софонов бросил камень в воду, чтобы привлечь внимание девушек. Я сфотографировал. Снимок был настолько живым, что Яша попросил для своего альбома фотографию. Я ему пообещал. Кроме того, без всякой задней мысли решено было послать каждой девушке по карточке на память. А моего двоюродного Жору я вмонтировал просто так, для разнообразия. Конечно, знай я, что так всё нехорошо обернётся, подумал бы прежде...

Витька явно наивничал, корчил из себя этого наивного шалунишку. И преуспел. Среди взрослых прокатился смешок. Кто-то с добродушным укором произнёс: «Ох уж эти мальчики!»

Затем слово предоставили мне, но я ничего не в силах был сказать. Я повернулся и вылетел из учительской, пробежал коридор и очутился на крыльце. Мелкий дождь охладил разгорячённое лицо.

Кто-то положил мне руку на плечо. Оглянулся — Витька!

— Пошёл к чёрту! — заорал я, отбрасывая его руку, и побежал домой, в ярости хлопая по лужам сапогами.

Из школы нас не выгнали, сбавили только оценки по поведению.

После этой истории Витька начал лезть в активисты. Он записался в клубный духовой оркестр, взялся оформлять стенд отличников учёбы. Особенно активничал он на школьных и комсомольских собраниях.

— Ты что к нам, Яша, не заходишь? — спросил как-то меня Геннадий Петрович. Он возвращался с МТС. От него пахло бензином и маслом, худощавое лицо было прокопчённым.

— Да так... всё времени нет, уроков много задают.

Но инженер, видимо, сам всё понял. Лицо его вдруг стало озабоченным, даже печальным. С минуту он задумчиво шагал рядом со мною, потом закурил трубку-носогрейку, как он любил выражаться.

— Кажется, просмотрел парня. Всё текучка, мирская суета нас заедает, — говорил он скорее для себя, чем для меня. — Ох, доберусь до этого дипломата! — Последнюю фразу он произнёс без особой уверенности.

— Женишься — дели себя пополам, — посоветовал он мне. — Одну половину отдай работе, другую — семье. Иначе ерунда получается.

Мне очень нравилось разговаривать так с Геннадием Петровичем.

— Жизнь холодна, как осенняя ночь, — философски заключил я.

Инженер насторожился:

— Ну, это афоризм слабовольных! Обывателей, опустившихся людей-пьяниц. — Геннадий Петрович продолжал: — Зря ты тогда с педсовета удрал. Если чувствуешь, что правда за тобой — кровь из носу, а дерись, доказывай. Знаешь слова из песни: «И вся-то наша жизнь есть борьба»*? Горячиться только не следует. Это самое трудное — сдержать себя, когда видишь, что

———

* Песня «Марш Будённого». Музыка: Даниил Покрасс и Дмитрий Покрасс. Слова: Анатолий Д'Актиль (Анатолий Френкель).

к тебе несправедливо относятся. Виктор в этом отношении — артист! Умеет нос по ветру держать.

Что «артист» — я убедился на школьном комсомольском собрании, когда меня принимали в комсомол.

Два дня до этого события я зубрил Устав, перечитал в газетах все последние новости — вдруг спросят. Мама мне выгладила новую рубашку и сама повязала галстук. И вот я стою перед собранием и ужасно волнуюсь. Но всё шло своим обычным чередом. Попросили рассказать биографию — рассказал. Миша Шумков поинтересовался, какие вопросы рассматривал XVIII съезд партии. Ну это я знал как дважды два.

И вдруг голос Шибанова:

— У меня вопрос к товарищу Софонову. Точнее не вопрос, а просьба. Пусть он объяснит свою дружбу с детдомовцем Кимом.

Все головы повернулись ко мне. Ответа ждали. А у меня пот ручьём потёк. Что ответить?

— Считаю, что Ким тут не при чём, — выдавил наконец из себя я.

С переднего ряда вскочил Миша Шумков:

— Вопрос не по существу, Шибанов.

Но Витьку это не смутило.

— Значит, можно якшаться с детьми врагов народа и быть комсомольцем? Так прикажете понимать? — Он сделал интонационное ударение на словах «быть комсомольцем» и «врагов народа». Получилось эффектно.

И тут меня взорвало:

— Не твоё дело, с кем я дружил! — заорал я. — А в комсомол можете...

— Софонов! — Миша грохнул по столу кулаком. — Замолчи!

Как я был потом благодарен Мише! Не крикни он на меня, ведь я сгоряча чёрт-те что наплёл бы. К Шумкову на помощь пришёл инструктор горкома комсомола, который присутствовал на собрании. Он тоже заявил, что вопрос не по существу и добавил:

— Если товарища интересует, почему не по существу — объясню: дети за родителей не ответчики.

Начались выступления. Смотрю, Витька опять руку вверх тянет. «Что ему ещё надо?!» — Я даже вспотел от злости.

— Товарищи, — начал Шибанов. — Я не случайно задавал вопросы Яше. Не подумайте, что делаю это с плохими намерениями. Яша — мой лучший друг. Моя совесть. И потому я заинтересован, чтобы эта совесть была чистой перед комсомолом.

В таком духе Витька ораторствовал минут пять. В перерыве он первым бросился меня поздравлять с принятием в комсомол. Миша Шумков тоже поздравил, и тут же отругал:

— «В комсомол можете не принимать», — передразнил он меня, сверкая очками. — Ишь ты! Не беспокойся, комсомол без тебя обойдётся! А ты без него...

Маша умел отчитывать. Я на него не обиделся, ибо он был прав. Есть люди, которые тебя ругают, а ты ясно видишь, что делают это они, так сказать, по долгу службы. Миша не таков. Он распекает тебя от души и сам расстраивается, что встречаются ещё в нашей действительности малосознательные элементы вроде Софонова.

– Приняли? — едва только я переступил порог, спросила мама. «Рассказать ей или нет?» — колебался я. И рассказал. Отец сидел у окна и набивал папиросные гильзы табаком. Как только я закончил рассказ, он вскочил, швырнул коробку

с гильзами на подоконник так, что гильзы подпрыгнули и рассыпались по полу.

— Я говорил, говорил тебе не водить к нам этого Кима! Вот, пожалуйста! — затараторил он, обращаясь к маме.

— Яша прав! — заявила мама.

— Он просто глуп! А ты до седых волос дожила, а ума не нажила!

Я прошёл в другую комнату, начал раздеваться. Родители всё ещё пререкались, но я их не слышал. Уткнулся в подушку, закрыв глаза.

Подружились мы с Кимом так. Однажды осенью мама пришла с дежурства из детдома, где работала воспитателем, расстроенная до слёз. Из детского приёмника сотрудник НКВД привёз группу детей, чьи родители были арестованы как враги народа.

— Такие все воспитанные и развитые дети, — рассказывала мама. — Есть там один мальчуган, по национальности кореец. Зовут Феликс, а фамилия — Ким. Учится во втором классе, книголюб!

Меня заинтересовал Ким. В мамино дежурство я пошёл в детдом. Феликса я увидел в комнате самоподготовки. Он играл в шахматы. Это был низенький мальчуган с плоским носом и раскосыми глазами. Он запросто обыграл своего партнёра. Я предложил сыграть со мной. Ким охотно согласился. Я считал, что играю в шахматы неплохо, поэтому решил дать Феликсу фору. Всё-таки я учился в восьмом классе, а он второклассник, малыш. Но этот малыш взял моего короля в такой оборот, что мне жарко стало. Раззадорившись, я предложил сыграть новую партию. Вокруг нас столпились ребята.

Во время шестой партии пришла мама и потребовала, чтобы мы кончали игру, так как скоро отбой. Я стал протестовать, но мама сгребла с доски фигурки и сказала:

— Не разлагай мне дисциплину. Марш домой! Тебе ещё, кстати, уроки надо учить.

Феликс стал ходить к нам. Летом мы бродили по лесу. Купались, рассказывали друг другу о прочитанных книгах.

Однажды я осторожно спросил его про отца и мать. Мальчуган погрустнел, шмыгнул плоским носом:

— Их арестовали, когда я спал, — ответил он угрюмо. От отца с матерью у него осталась фотография, которую он хранил в потрёпанном букваре. На снимке были изображены пышноволосая женщина в кимоно и мужчина в военной форме с петлицами капитана. Оба сидели, тесно прижавшись друг к другу.

Весной Ким простудился, заболел скоротечной чахоткой и умер. Хоронили его всем детдомом, с флагами, венками. Только не плакал никто над гробом...

Вот Витька Шибанов и припомнил мне на собрании дружбу с Феликсом.

Не знаю, как другие, но я очень рано начал распознавать в людях плохое и хорошее. Я часто мечтал встретить человека, у которого в характере были только одни положительные черты. Я даже рисовал этот образ. Человек был красив, как Байрон, остроумен, как Тиль Уленшпигель, силён, как Иван Поддубный. По профессии он был лётчиком-истребителем и моим большим другом. Он имел имя и фамилию — Василий Соколов. Василием я его назвал в честь храбрейшего из храбрых командиров Гражданской войны — Чапаева, а Соколовым — в честь горьковского сокола. С этим Василием Соколовым мы частенько беседовали. Он выручал меня из различных бед, давал советы, знакомил с самыми красивыми девчатами, был моим душевным поверенным в отношении Люси Вороновой. Но я должен подробно рассказать об этой девушке.

Глава 3

В каждом классе, наверное, есть девчонка, которая нравится большинству ребят. В нашем классе такой девчонкой была Люся.

Представьте себе большеокую невысокую девушку с очень толстыми белокурыми косами. Из-за глаз Люси я проиграл своему соседу по парте Вовке Зылёву серию почтовых марок о челюскинцах. Я был убеждён, что у Люси глаза серые. А они оказались карими. Вовка назвал их махровыми, так как глаза были в густых чёрных ресницах.

Когда девушка шла по улице, редкий прохожий не оборачивался ей вслед: всем бросалось редкое сочетание — золотые волосы и тёмные глаза. Люся была дочерью врача. Она и сама мечтала быть хирургом, в школе только о медицине и говорила. Всегда чистенькая, аккуратная, она жила в таком же чистеньком, аккуратном домике возле больницы.

За хороший, чёткий почерк Люсю постоянно выбирали в состав редколлегии школьной стенгазеты «Отличник».

Для меня выпуски газет были самыми счастливыми днями. Я с таким нетерпением ждал того момента, когда Миша подойдёт ко мне и скажет: «Останься сегодня после уроков. Надо потолковать насчёт стенгазеты».

Люсю выпуск стенгазеты не особенно радовал. Она ходила в хор художественной самодеятельности Дома культуры, и если

оказывалось, что дни выпуска стенгазеты совпадают с днями репетиции, — скандалила.

— Не останусь ни за что! Хоть на куски режьте!

— Не забывай, что участие в стенной печати — твоё комсомольское поручение, — напоминал Миша.

— Выпуск надо перенести.

Но Миша был неумолим.

Сидели мы в учительской над стенгазетой до поздней ночи, домой нам с Люсей было по пути. Но она меня обычно не дожидалась — удирала вперёд. А я ни за что на свете не решился бы идти рядом с ней. Да если бы и решился, то не смог бы сказать ни слова. Молчал бы как пень.

И вот однажды, уже в десятом классе, в конце ноября был страшенный гололёд. Мы вышли из школы на крыльцо, и Люся, едва спустившись со ступенек, заойкала:

— Ой, как же я пойду? Ноги так сами и катятся. У моих галош вся подошва стёрлась.

— А Яша на что? — заметил в темноте Миша. — Он доведёт тебя до самого дома. Яша, возьми даму под руку!

На ночной улице зазвенел колокольчиком Люсин смех. Ей стало смешно, что она дама. Она сделала пару шагов, покатилась, завизжала. А я стоял столбом.

— Ну чего стоишь? — послышался из темноты нетерпеливый голос. — Иди сюда. Я же могу упасть!

Я рванулся к девушке так стремительно, что сам, поскользнувшись, едва не шлёпнулся. Ну и гололёд!

— Ха-ха! — звенел колокольчик. — Тоже мне, провожатый!

Не помню, как подошёл к девушке. Под локоть мне моментально нырнула тугая ручка, и последовала команда:

— Пошли!

И вот мы идём по спящей улице, мимо чёрных безглазых домов. Люся без конца тараторит о каких-то пустяках. Я произношу только междометия «да-да!», «ну!», «гм!» и страстно мечтаю, чтобы улица каким-нибудь чудом удлинилась. Люсин белый берет чуть выше моего плеча. Одна коса спускается ей на грудь, конец этой косы щекочет кисть моей согнутой руки. Я млею от желания взять его пальцами.

Путь Вороновой к дому лежал через овражистый переулок. Мы свернули в этот переулок, спустились на мостик, но на противоположный склон никак подняться не можем. Сапоги у меня — будь они прокляты — скользят, вместе со мной, ойкая и взвизгивая, скользит и Люся. Я даже вспотел от досады за свою беспомощность. Конечно, был бы я один, то разбежался бы, и — порядок! А почему бы самой Люсе не разбежаться? Девчонка она ловкая. Заикаясь от волнения, я посоветовал девушке это сделать.

— У меня сейчас не получится, — ответила Люся и смущённо захихикала, а я едва не откусил себе губу: вот остолоп! На ней же модная узкая юбка. Не будет же она при мне задирать юбку.

— Что будем делать?

Девушка выжидательно смотрит на меня своими махровыми глазами, и губы у неё прыгают от еле сдерживаемого смеха.

Вдруг она поежилась:

— Я замерзаю!

Она замерзает, а с меня пот ручьями течёт! Обойти этот проклятый овраг другими улицами? Продолбить камнем во льду ступеньки? И вдруг... Я решительно скидываю с себя пальто и бросаю на склон. Рядом распластывается пиджак. Выпаливаю:

— Шагай!

Люся смущена. Я чувствую, что она улыбается в темноте, мнётся, иронизирует:

— Скажите на милость, какой рыцарский жест!

— Шагай! — почти кричу я.

Девушка легко и осторожно ступает на рукав пальто, потом на пиджак, и вот уже её фигурка темнеет на краю склона.

— Спасибо, Яша! — растроганно звучит её голосок. — Я дойду, тут недалеко. До свидания!

Люсины шаги давно затихли, а я всё стою в овражке и улыбаюсь, как дурак. Одевшись, я легко взбегаю на склон, где только что стояла Люся, оглядываюсь. Невдалеке чернеют строения больницы и деревья. Жду, что вспыхнет в окне огонь. Но всё темно и тихо. Даже пёс Вороновых — Гектор — не лает. Видимо, девчонка, чтобы не тревожить домашних, разделась в темноте — и в постель. А мне спать совершенно не хочется. Какой там сон!

Я вновь спускаюсь в овражек и неожиданно обнаруживаю ступеньки. В полутьме мы их не заметили, они оказались левее тропки, но сапоги мои не скользят. Люсе, конечно, по ним не взобраться. Но я бы её взял в охапку и так бы на руках вынес, она должна быть лёгкая. Ох, почему нельзя вернуть тех минут! За это отдал бы полжизни!

Утром я проснулся от голоса мамы:

— Яков, ну-ка поднимайся и чисти пальто. Где это ты выпачкался? Упал, что ли?

— Упал, — буркнул я, не глядя на маму.

— А каким образом пиджак извозил? Тебя топтали, что ли? Там след от галоши.

Честное слово, из моей мамы вышел бы прекрасный следователь. Мгновение, и я у вешалки. Очистив от грязи одежду, я оставил на подкладке пиджака след маленькой галоши — пусть он будет всегда со мной.

Нужно ли говорить, с каким нетерпением я ждал очередного выпуска стенгазеты? Я считал дни, я тормошил ребят, чтобы они писали заметки. И вот мы сидим опять втроём в жарко натопленной учительской. За окном поскуливает декабрьский ветер. Я дорисовываю заголовок, Люся дописывает информацию. Миша, нацелившись очками в развёрнутый лист «Отличника», выискивает ошибки.

Сегодня, как только выйдем из школы, я смело возьму девушку под руку, я провожу её до самого дома.

Хлопнула входная дверь, послышались шаги, в дверях учительской вырос Витька Шибанов. Он ходил в кино на последний сеанс и, как заявил, завернул к нам на огонёк. Он попросил разрешения у Люси закурить и задымил, усевшись у форточки. Он явно не собирался никуда уходить.

«Чёрт бы тебя побрал! Провались ты, уйди!» — просил я мысленно Шибанова. Шибанов дождался, пока мы в коридоре повесили стенновку, галантно помог Люсе надеть пальто и ещё на лестнице подхватил девушку под руку.

Они пошли впереди меня, о чём-то весело болтая. Долетали обрывки слов Люси:

— Папа привёз прелестную ёлку... На каникулы из Ленинграда приезжает двоюродная сестра... Девчонка — во! Приходи! Ещё мальчики будут...

А я, забытый, брёл позади, насвистывал мелодию из фильма «Большой вальс», смотрел на звёзды и критически оценивал

свою внешность. Что во мне интересного? Нос картошкой, волосы на голове в разные стороны торчат, как я их ни причёсываю. У Витьки шевиотовый* костюм, а у меня — хлопчатобумажный.

Я решительно свернул на параллельную улицу, стараясь больше не думать о Люсе и Витьке.

* * *

В январе стенгазету мы не выпускали, так как были на каникулах. В феврале Люся болела гриппом. В марте Воронова на выпуск явилась вместе с Дусей Рыжовой. Толстуха всюду совала свой нос, презрительно фыркала, когда я ей предлагал идти спать. Как выяснилось, Дуся договорилась ночевать у Вороновых.

Апрельский номер стенгазеты должен быть последним в нашей школьной жизни, ибо в мае начинались экзамены. Поэтому мы делали его с особой любовью. Даже Люся забыла про свою привычку ворчать. В тот вечер она была необычайно весёлой. Без конца хохотала, дурачилась. Мишу называла Мишуткой и даже обняла его за шею. Наш принципиальный комсорг так смутился, что у него свалились с носа очки. Это привело Люсю в восторг.

И вот едва мы спустились с крыльца, как Воронова воскликнула:

— Яша, где твоя мужественная рука? Я абсолютно ничего не вижу!

---

* Мягкая, слегка ворсистая шерстяная (или из смешанной пряжи) респектабельная ткань для пошива деловых костюмов и верхней одежды.

Ночь действительно была тёмной, какие в Поволжье бывают обычно в апреле: снега уже нет, а дни ещё не особенно длинные, я держу Люсю под руку, бормочу какие-то плоские остроты, но, как ни странно, девушка хохочет. А мне грустно от мысли, что это последний наш выпуск стенгазеты. Больше, наверно, я Люсю не увижу. Водоворот жизни понесёт нас в неведомое, заманчивое и вместе с тем пугающее своей неизвестностью. Я стараюсь идти как можно тише. Моё минорное настроение передаётся Вороновой. Мы уже миновали тот самый злополучный овражек, уже подходим к Люсиному дому. Пахнет мокрыми ветвями черёмух, белеют наличники тёмных окон.

— А ведь, Яша, здорово у нас, весело было на выпусках! Правда? — говорит девушка со вздохом. — Сколько мы чудили!

Девушка стоит лицом ко мне. В полумраке поблёскивают её махровые глаза. На затылке белый берет, как нимб, на груди шевелятся косы.

— Ну, до свидания, Яша!

Я хватаю обеими руками протянутую тугую кисть:

— Люся, можно тебя поцеловать? — мне кажется, что эту фразу произнёс не я, а кто-то другой.

Девушка секунду стоит неподвижно, потом быстро подставляет лицо и прищуривает глаза. И этот чужой, а не я, торопливо припадает губами к тёплым, вздрогнувшим девичьим губам.

— До свидания, Яша! — доносится до меня растроганный шёпот. Стук каблучков, брех Гектора, хлопок калитки. Тишина!

Я стою, словно оглушённый громом. Я чуть не плачу от счастья! Люсе я не безразличен! Она меня любит!

Сколько раз в эту ночь я возбуждал в памяти видение мерцающих белков глаз, ощущение тёплых, трепещущих губ — первого в жизни поцелуя? Может, сто раз, а может, тысячу. На другой день я шёл в школу с чувством собственного превосходства. Ведь я целовал ночью самую красивую девушку из нашего класса. Да что класса! Школы! И никто об этом не знает. Это моя тайна! Это наша с Люсей тайна!

Я сажусь за парту и украдкой бросаю взгляд на Люсю. Она от меня сидит через две парты у стены и, покачиваясь, что-то зубрит. Золотая её головка то попадает в полосу солнечного луча, то в тень. И на синей панели, как зайчик от зеркала, движется взад и вперёд светлое пятно.

Вырвав из тетради чистый лист, я решаюсь написать Вороновой записку. Но что писать? А может, пригласить в кино? Я застываю с карандашом. Мне приходит мысль, что если у Люси записку увидит Дуся Рыжова — а они сидят рядом, то обязательно попросит прочесть. Это такое любопытное создание.

Что бы сделал на моем месте Василий Соколов? Он бы смело подошёл к девушке и, глядя прямо в махровые глаза, произнёс: «Люся, как ты смотришь на совместный поход в кино?» Девушка вспыхнет и прошепчет: «Я... я согласна». «Ровно в 6:30 у клуба жду тебя». Лёгкий кивок головы и твёрдая удаляющаяся походка.

Еле дождавшись перемены, я медлю покидать класс, листаю «Физику» и искоса наблюдаю за Люсей. Вот она поднялась, расправила платье, что-то сказала Дусе. Обе рассмеялись, направились в проход. Ух, как я ненавидел в этот момент рыжую толстуху! Всегда её чёрт сунет, когда не надо. Все три перемены около Люси кто-нибудь да вертелся. Наконец мне удалось её подстеречь возле бака с питьевой водой. Она только что поднялась снизу, видимо ходила в учительскую.

— Люся, — начал я торопливо, страшно опасаясь, что опять кто-нибудь помешает. — Ты смотрела фильм «Тринадцать»?

— Смотрела, — спокойно ответила она, глядя на меня во все глаза. — А что?

— Видишь ли... — замямлил я, чувствуя, что шея и уши заливает жаркая краска. — Я хотел... Я тебя...

— Спасибо! — рассмеялась девушка. — Но по два раза я фильмы не смотрю. Всё?

Она побежала, подпрыгивая на ходу. Словно из-под земли возле Вороновой выросла Дуся.

– Что он тебе говорил?

— В кино приглашал!

Я готов был провалиться. Ничего не мог понять. Как бы поступил на моем месте Василий Соколов? Он бы наградил легкомысленную девчонку презрением и выбросил её из головы.

Глава 4

Как и договорились, вечером я был у Миши Шумкова. У него я любил бывать. Дом Шумковых со стеклянной крашеной верандой. За домом — сад, в цветущих яблонях жужжат пчёлы. Когда я пришёл к нашему комсоргу, он с отцом чистил хлев у коровы. Я вызвался помочь, но Мишин отец замахал на меня брезентовой рукавицей: мол, справимся сами.

Я сижу в Мишиной комнате за самодельным письменным столом. За перегородкой поскрипывает деревянной кроватью Мишина мать — Евдокия Ивановна. В финскую кампанию у Шумковых на Ухтинском направлении погиб старший сын, мастер спорта по лыжам. У Евдокии Ивановны от переживаний отнялись ноги. Сейчас она, правда, уже потихоньку

передвигается, держась за стены. Чего только нет у Миши в его кабинете! И кучи пробирок, и боксёрские перчатки, и радиолампы. На трёх самодельных полках — ряды книг. Здесь и сборник избранных сочинений В. И. Ленина, и «Атлас мира», и произведения Циолковского. Над самым столом пришпилена цветная репродукция с картины — вкладыш из какого-то журнала.

Эта картина — предмет бесконечных наших споров с Мишей. На ней изображён колхозный праздник. Под тенистыми деревьями расставлены столы с разными яствами. Возле столов суетятся и пляшут толсторукие колхозницы с могучими красными икрами. Благообразный дед наливает из бочки в кувшин вино. Тут же красуются плечистые парни с бычьими шеями. Один из них стоит с велосипедом, второй крутит патефон, третий, в майке, поднял над головой полуголого щекастого мальца. А в центре картины с трубкой и в белом костюме нарисован улыбающийся товарищ Сталин.

— Вряд ли товарищ Сталин пойдёт на колхозный пир вот так запросто, без охраны, — замечаю я Мише. — А здесь охраны что-то не видно.

Миша начинает доказывать, что присутствие Сталина на празднике — деталь чисто символическая. Она, эта деталь, подчёркивает единение народа с вождём.

— Значит, картина эта далека от реальности, — замечаю я.

Но Мишу нелегко загнать в угол.

— Зачем утрировать? Художник даёт обобщённый образ колхозной жизни.

— Допустим, — соглашаюсь я. — Но как объяснить, что здесь изображены все весёлые и здоровые? Смотри, вон у этой

бабы какие толстые ляжки. Ведь у нас не все колхозники такие богатыри.

— А ты хотел, чтобы на картине были дистрофики? Обилие материальных благ могут создать только здоровые люди. Художник здесь стремился показать зажиточную жизнь советской деревни.

Среди книг на полке у Миши находилась толстая тетрадь в чёрном клеёнчатом переплёте. Дневник. Я пытался как-то заглянуть в него. Миша тотчас отобрал и назидательно заметил:

— У каждого человека есть душевные тайны, свои сокровенные мысли, которые не хочется никому открывать. У меня просьба к тебе, Яков: никогда не трогай эту тетрадь, если меня уважаешь. Даёшь слово?

Я дал слово.

Сегодня нам было не до споров. Войдя в комнату, зачёсывая мокрые после умывания волосы, Миша деловито осведомился:

— Как будем писать?

Я раскрыл было рот, чтобы ответить, но Миша вдруг улыбнулся и кивнул на окно: на крыльцо веранды Шумковского дома поднимался — кто бы вы думали? — Витька Шибанов!

Он вошёл к нам деловитой походкой и прямо с порога радостно воскликнул:

— Вот хорошо, что вы здесь оба. У меня, ребята, возникла гениальная идея. Давайте напишем в Москву об аресте Сергея Ивановича.

Миша посмотрел на меня поверх очков так, как может смотреть только Миша. Что, мол, съел, бродяга! — говорил его взгляд.

— Мне кажется, надо писать прямо товарищу Сталину, — сказал Витька, — вы как думаете?

Миша вновь ехидно посмотрел на меня поверх очков. Я не выдержал и показал ему язык. А на душе было хорошо. Всё-таки Витька Шибанов неплохой парень. Но бывают у него заскоки. А у кого их не бывает? У меня — сколько угодно.

Чтобы не отнимать много времени у товарища Сталина, по предложению Витьки изложили только просьбу разобраться в причинах ареста нашего литератора, которого мы, со своей стороны, считаем ни в чём не виновным.

Когда письмо было составлено, тщательно переписано и заклеено в конверт, Миша протянул его мне:

— Отправь заказным сегодня же!

«Кто же тогда донёс на Сергея Ивановича? — ломал я голову, шагая на почту. — Может, кто-то из учителей? А может, в самом деле Вовка Зылёв?»

Глава 5

Вовка Зылёв — мой приятель — был большим оригиналом. Представьте коротенького человека с кудрявой шевелюрой, крикливого, юркого. Он вечно куда-то торопится, вечно чем-то увлечён, о чём-то спорит, набит идеями и проектами.

У Вовки была одна-единственная тетрадь, которую он таскал за поясом штанов. В этой тетради можно найти всё что угодно, но только не задачи, не формулы, не записи с уроков. Вовка её звал «универсал-тетрадь». В универсал-тетради была и таблица игр чемпионата по футболу, и карикатура на химичку, и способ хранения навозных червей...

Будь Вовка чуть постарательнее, учился бы на «отлично». Но Зылёв надеялся на свою чудесную память. Поэтому, кроме «посредственно», в табеле у него других оценок не было.

Впрочем, была. Это постоянное «отлично» по истории.

Иногда Вовка исчезал на несколько дней и из школы, и из дому. Его находили в читальном зале городской библиотеки, позеленевшего от голода, где он, обложившись томами и запустив в свои пышные кудри пальцы, усердно изучал или эпоху Кромвеля, или Юлия Цезаря или ещё какую-нибудь эру. Вовку приводили в школу, кормили, ругали. Потом он с полмесяца сыпал на наши головы замысловатые имена государственных деятелей, козырял удивительными историческими фактами и событиями.

Иногда Вовка потрясал нас открытиями:

— Ребята! — орал он басом, переступая порог класса. — Знаете ли вы, что женщины в своём развитии стоят ближе к первобытному обществу, чем мужчины? Я это сейчас же вам докажу!

— А ну-ка докажи! — возмущённо восклицали девчонки и грозно надвигались на Вовку.

— И докажу! — горячился Зылёв, предусмотрительно отступая к открытому окну. — Пусть вначале Рыжова положит указку. Она дубовая и очень толстая. — И после выполнения требования продолжил: — Вы знаете, что дикари, как мужчины, так и женщины, носили серьги, браслеты и бусы, волосы и брови красили. Современные мужчины браслет, серёг и бус уже не носят, а женщины... Вон у Люськи Вороновой на шее ожерелье из стекляшек болтается, а Дуська вдела в уши чуть ли не обручи от кадушки. Значит...

Вовка не успел закончить фразу, спешно выпрыгнул в окно, так как возле головы просвистела мокрая тряпка, пущенная рукой разгневанной представительницы пола, стоящего ближе всех к первобытному человеку.

В девятом классе Зылёв решил принять участие в строительстве завода в Нижнем Тагиле. Прибавив в документах себе два года, которых ему не хватало до совершеннолетия, он попал к уполномоченному по оргнабору рабочей силы.

Вовку завербовали. А перед началом учебного года он вернулся. Худой, оборванный и вшивый. Вовку прогнали со стройки. Ему пришлось жить и работать вместе с заключёнными. Целый месяц мы, раскрыв рты, слушали блатные песни и жуткие рассказы из жизни уголовников.

Таков был Вовка.

* * *

...После отправки письма в Москву прошла неделя. Занятия в школе окончились, шла подготовка к выпускным экзаменам. Я раза два интересовался у Миши, есть ли ответ из Москвы. Ответа не было.

Перед консультацией по физике Шумков отвёл меня в сторону и вполголоса проговорил:

— Про Сергея Ивановича накапал Зылёв.

У меня всё похолодело внутри.

— Кто тебе сказал?

— Никто. Я сам догадался. Вспомнил выходки Зылёва во время выступления хора или на копке картофеля.

— Но при чём здесь Сергей Иванович?

— Он ему отомстил за Есенина. Помнишь?

Уловив на моём лице недоверчивую усмешку, Миша бросил главный козырь:

— Известно ли тебе, что Зылёв экзамены сдавать не будет? Он уехал в Ульяновск. Хочет поступать на завод. Зылёв струсил,

что когда из Москвы придёт распоряжение освободить Сергея Ивановича, то его лицо, лицо начинающего клеветника, будет раскрыто. Это человек с мелкой обывательской душонкой.

Случаи на копке картофеля и со сборником стихов Есенина имели свои истории. На мой взгляд, они пустяковые. Но Миша их почему-то запомнил, считает, что они характеризуют внутренний мир человека.

...В колхозе на копке картофеля нам на каждого человека дали по два ряда посадок. Разгорелось соревнование, кто быстрее выкопает свою норму. Вперёд вырвались Вовка и Дуся Рыжова. Я пытался за ними угнаться, но где там! Позади, к удивлению всех, ковырялись лопатами Миша, Люся и Витька Шибанов.

Закончив первую копку, Вовка уселся на бугор и задорно крикнул:

— Вы только посмотрите на наших отличников! Ха-ха-ха! Это не учебники зубрить! Тухлая интеллигенция!

Слова «тухлая интеллигенция» Вовке пришлись по вкусу, он несколько раз с наслаждением выкрикнул их.

Люся не выдержала:

— Дурак ты, Вовка! Хвастун! Первый выкопал, и трезвонишь, как худой таз. Принцип соревнования забыл — помогать товарищу!

— Отличникам из принципа помогать не буду! — объявил Вовка и, сорвавшись с бугра, подошёл с лопатой ко мне.

А с Есениным произошло следующее.

В десятом классе мы изучали Маяковского. Попутно Сергей Иванович рассказал нам немного о Есенине, хотя школьной программой этого не предусматривалось. Вообще-то

о Есенине в то время говорили как о реакционном поэте. В заключение литератор с пафосом прочитал «Собаке Качалова» и «Письмо матери». Сергей Иванович опять перешёл к Маяковскому, а у нас в ушах всё ещё звучали чудесные строчки.

Прозвенел звонок на перемену. Вовка Зылёв хрястнул кулаком по парте и объявил:

— Подохну, но Есенина достану.

И он достал у какого-то книголюба. Это был довольно толстый том без начала и конца, изданный в двадцатых годах.

Вовка принёс книгу в класс, и в перемену, встав на парту, завывающим голосом декламировал стихи. Мигом образовалась очередь на Есенина. Но почитать нам его не довелось.

В тот же день Сергей Иванович отобрал у Вовки книгу, так как тот читал её во время урока. У Вовки и раньше отбирали книги, потом отдавали. Но Есенин попал на глаза завучу, Валентину Петровичу. Белоглазый пришёл в священный ужас.

После занятий Зылёв побежал к завучу клянчить книгу, но тот был неумолим.

— Я должен её показать директору. При всём к Вам уважении, Зылёв, считаю нужным заметить: не ожидал от Вас такой наглости. Есенин официально запрещён, а Вы додумались в школу принести.

Вернувшись от завуча, Вовка обрушил все громы и молнии на литератора. Он вмиг придумал ему с десяток прозвищ. Класс возмутился. Со всех сторон посыпалось: «Как тебе не стыдно!», «Сам виноват!», «Ведёшь себя как первоклассник!».

— Да ведь белоглазый сожжёт Есенина! — чуть не плача, оправдывался Вовка. — Книга чужая! Мне её на неделю дали.

И Вовка торжественно объявил, что если книга будет сожжена, то он повесится, как Есенин.

Но вешаться Зылёву не пришлось. В тот же вечер мы вместе с ним проникли через форточку в кабинет Валентина Петровича и выкрали книгу.

Во время этой операции нас застал Миша Шумков.

— Чего это вы тут околачиваетесь? — поинтересовался он, но, заметив распахнутую форточку, а у Вовки разорванную рубаху и том Есенина, всё понял. — И не стыдно?

— Иди, фискал! — завёлся Вовка. — Чихал я на тебя и на всех учителей! Ясно?

Он убежал. Меня тоже возмутил менторский тон Миши. Жить по-Мишиному — сдохнуть со скуки можно. Раз нельзя читать Есенина — значит, нельзя... Все правила и наставления он принимал безоговорочно, не задумываясь. Этим вот Миша мне не нравился.

...После слов Шумкова, что Вовка Зылёв донёс на Сергея Ивановича, я долго не мог успокоиться. Хотелось с кем-то поделиться своими мыслями и сомнениями. Но с кем? С мамой? С мамой я любил говорить, советоваться, она всегда терпеливо и внимательно слушает, и обычно как скажет, так оно и получается. Но мама была занята. Она выбирала в подполье картошку для посадки.

В кухне сидел отец и старательно хлебал деревянной ложкой лапшу. Он был выпивши. Это я быстро определил по сонно опущенным векам, по лапшинам, которые приставали к его небритому, мокрому подбородку.

С отцом, особенно хмельным, разговаривать бесполезно. У него, как у гоголевского Собакевича — все люди мошенники.

Если ему верить, то каждый человек только и стремится, чтобы утопить своего ближнего, занять попрочнее место под солнцем. Об аресте Сергея Ивановича он, конечно, слышал и считает, что дыма без огня не бывает. Раз арестовали — значит, за дело.

Шаркая домашними туфлями, отец прошёл за перегородку, скрипнула кровать. Из подполья вылезла мама с паутиной на косынке и чёрными от земли руками.

— Ты ужинал? — устало поинтересовалась она.

Мне есть не хотелось. Мама принялась мыть посуду, а я, пересев к столу, завёл разговор об экзаменах, затем перевёл на Сергея Ивановича и рассказал о нашем письме, о своих сомнениях.

Мама замерла с тарелкой в руках, глаза округлились:

— Ты сумасшедший, Яков! Кто вас... кто тебя просил соваться? Твоё дело сейчас — экзамены сдавать.

— Но, мама, ведь Сергей Иванович невинно...

— Замолчи! — крикнула мама. — Ты ещё жизни не знаешь! Мальчишка!

Из-за перегородки вдруг появился отец, он не спал и всё слышал.

— Молокосос! — задребезжал он. — Вот что я тебе скажу! Под статью нас хочешь подвести? У кого писали письмо?

Узнав, что у Шумковых, папа театрально схватился за голову, охнул.

— Это же иудово племя! — кричал отец. — Если хочешь знать моё мнение, на вашего литератора донёс этот очкарик!

— Миша?

— Вот-вот! Он! Какая цель? Выслужиться! В институт будет поступать, глядишь, в анкете напишет, что-де разоблачал

врагов народа. И карьеру сделает! Ведь донёс он директору, что вы фотографировали голых девчонок! Мог бы язык держать за зубами.

— Но зачем он сочинял письмо в Москву? Для отвода глаз? Чепуха! Миша — человек прямой, честный, лицемерие ему чуждо.

Неделю спустя я снова поинтересовался у Шумкова в отношении ответа из Москвы.

— Ничего нет, — буркнул Миша и хмуро отвёл глаза в сторону. Я его спросил ещё о чём-то, он ответил так же односложно и с неохотой. «Донёс очкарик» — прозвучали у меня отцовские слова.

Глава 6

Этот день описан во многих книгах. Мне он запомнился в мельчайших деталях, точно всё произошло вчера.

Значит, так... За три дня до этого самого дня мы сдавали последний экзамен — немецкий. Я взял экзаменационный билет и сел готовиться. В нём стояло два вопроса и текст для перевода. Первый вопрос и текст были пустяковыми. Второй вопрос был такой: «Назовите модальные глаголы». Их было несколько, этих глаголов. И вот когда я чесал за ухом, припоминая эти немецкие глаголы, дверь приоткрылась и под нос ко мне школьная сторожиха положила повестку из военкомата. В ней предлагалось 22 июня явиться на военную комиссию, которая будет проходить в Ульяновске.

Зимой мы, десятиклассники, уже проходили приписную комиссию. Меня тогда спросили, в каком роду войск я желаю служить. Ну конечно, в авиации! Какой мальчишка не мечтал

быть Чкаловым, Громовым или Коккинаки? В одну из граф учётной карточки так и записали: «ВВС». Это, чёрт возьми, звучит: ВВС! Каждый парень знает, что ВВС — военно-воздушные силы. На комиссии нам объявили, что все мы сразу после десятилетки пойдём в военные училища и об институтах пока мечтать нечего.

Вообще в ту предвоенную зиму много делалось того, что не делалось прежде. На уроках военной подготовки мы, кроме винтовки и пулемёта «Максим», совершали всем классом марши в противогазах. А однажды в морозный воскресный день все учреждения и школы, выстроившись в огромную колонну, отправились в поход за город. Искрился снег, пламенели над головами флаги, звенели песни «Если завтра война», «Дан приказ: ему на запад». Вокруг колонны шныряли лыжники-разведчики походного охранения. Всё как полагается на марше военной части.

Прошли километров пять и повернули обратно. На городской площади состоялся митинг, на котором выступил секретарь горкома партии. Он призвал крепить оборону страны и быть бдительными.

20 июня у нас состоялся выпускной вечер. Я впервые в жизни выпил полстакана вина. Директор школы, Белоглазый, учителя говорили много трогательных слов. У некоторых ребят, не говоря уже о девчатах, подозрительно блестели глаза.

Ответную речь от имени выпускников держал Миша. Он был в чёрном костюме погибшего брата, при галстуке. Когда Миша заканчивал речь, то голос у него задрожал, а очки запотели. Он расцеловался с директором и Белоглазым. Конечно, все дико аплодировали.

Потом нам вручали аттестаты об окончании десятилетки. Шумков, Шибанов и Воронова получили аттестаты, окаймлённые золотой рамкой, как отличники, а прочие смертные — серебряной.

У прежних выпускников на вечерах устраивали весёлые «капустники». Их организатором всегда был Сергей Иванович. Нынче «капустника» не было, экзамен по литературе у нас принимал преподаватель из другой школы.

Люся была особенно хороша в этот вечер. В ярко-голубом платье, в туфлях на высоком. Две толстенные косы в свете ламп-молний так и переливались у неё за спиной, как ручьи на солнце. После того прощального поцелуя и сорвавшейся попытки пригласить девушку в кино я больше с Люсей не разговаривал. Подходить близко даже не решался. А здесь, под действием вина, мне захотелось откровенно с ней обо всём поговорить. Я ей расскажу, как много думаю о ней, с каким нетерпением ждал выпуска стенгазет. Речь у меня сложилась удивительно гладкой и убедительной. Я чётко представлял себе, как уведу Люсю в пустующий класс, буду говорить, и её махровые глаза заблестят влагой.

Начали играть в комсомольский ручеёк. У меня даже дыхание перехватило от волнения. Всё отвечало моему плану. Комсомольский ручеёк — игра в те годы общеизвестная. Парочки из парней и девушек встают друг за другом и, подняв сцепленные руки, образуют коридор. По этому коридору, пригибаясь, бежит парень, хватает за руку приглянувшуюся девушку и становится с ней в первый ряд. Лишившийся своей партнёрши, в свою очередь, бежит по живому коридору и разлучает ещё какую-то пару. И так до бесконечности.

Только я взял за кисть руки Люсю, только мы встали в первый ряд, только я открыл рот, чтобы сказать, что хочу поговорить с ней, как снизу высунулась рука Миши Шумкова и увела Воронову. Я вновь отыскал голубое платье, отобрал Люсю у комсорга. Но едва мы с ней распрямились, девушку зацапал Витька Шибанов. Стиснув зубы, я снова нырнул под колыхающуюся кровлю рук. Увы! Голубого платья не увидел. Исчез и Шибанов. Что-то неприятно сжалось у меня в груди. Вокруг смеялись, танцевали, пели, а я уныло бродил по коридорам, вглядываясь в лица пробегающих девчат.

Заглянул в свой класс. Там сидела Дуся Рыжова и ещё трое или четверо девчат. Все они ревели — прощались с классом. Дуся меня окликнула, но я захлопнул дверь: не люблю телячьих нежностей.

В зале по-прежнему гремела музыка и веселились выпускники. Но на улице по-ночному было ещё тихо. На школьном крыльце пахнуло в лицо цветущей сиренью, что росла в палисаднике с восточной стороны здания. Я решил наломать цветов. Обогнул угол и только протянул руку, как над головой услышал тихий разговор:

— Ты это сделаешь, как только покажется солнце.

— Брось эту фантазию!

— Нет-нет!

На балконе, обнявшись, стояли Витька и Люся. На балкон можно было попасть только из учительской. Значит, во время игры в комсомольский ручеёк они сюда и утекли. Головка Люси лежала на Витькиной груди, как это показывают в фильмах. Её махровые глаза и лицо так и светились счастьем. Витькиного лица я не видел. Крепко обняв девушку, он пытался поймать

своими губами её губы, но она шаловливо вертела головкой и всё твердила счастливым голоском:

— Нет-нет! Солнце ещё не показалось! Давай уж как уговорились!

Я забыл про всё. Я не сводил с парочки глаз. Вдруг в край водосточного жёлоба крыши словно плеснули расплавленным золотом. Сверкнули верхние стёкла окон.

— Ой, солнце! — прозвенел колокольчик, и девушка знакомым мне до боли движением подняла лицо и, прикрыв глаза, замерла в ожидании. Витька тотчас жадно впился в её губы.

Что бы сделал на моём месте Василий Соколов? Он бы гордо удалился. Но я не был Василием Соколовым. Я отыскал на дороге сухой лошадиный яблок и швырнул в сторону балкона. Потом нашарил в траве камушек.

— Не надо, Яша! — Рядом, протирая платком очки, стоял Шумков. — Не мешай. Пусть целуются. Она другому отдана и будет век ему верна, — сказал Миша печально, беря меня под руку.

Мы побрели к реке, к знакомой ветле, молча угнездившись в дупле. Перед нами неподвижно стояли затопленные деревья рощи противоположного берега — вода в Волге ещё не спала. В роще состязались соловьи. Эхо их трелей было необычно звонким, точно кто-то пересыпал хрустальные палочки.

— Это от воды звук отражается, и потому такой красивый, — заметил Миша и полез в карман пиджака, который ему в плечах явно был широковат, достал пачку «Ракеты» и закурил. Шумков курит! Впрочем, удивляться тут нечего. У Миши всё по правилам. С сегодняшнего дня он стал самостоятельным человеком, вышел из-под опеки учителей. Можно курить.

Солнце было где-то между деревьями, но его рыжие брызги уже летели меж ветвей, окрашивая воду в апельсиновый цвет.

Витька и Люся, наверно, сейчас тоже смотрят на воду и хмурятся от яркого света.

А Миша продолжал меня удивлять.

— Яша, я тебе хочу открыть сокровенную тайну своей души.

Посмотрев пытливо на меня, не смеюсь ли над его высокопарностью, Шумков продолжал:

— Дай мне честное слово, что никому не расскажешь!

Я поспешил выполнить его просьбу.

— Дай пять!

Я сунул свою ладонь в его.

— Уже два года, как я люблю Люсю! — торжественно изрёк наш комсорг.

Я не знал, что ответить, как вести себя. Меня забавляло необычайное настроение Шумкова и смущала его откровенность. Эта откровенность, конечно, проявлялась под действием вина. Но Миша сам меня выручил:

— Ладно. Не будем об этом. Счастье улыбается не всем. — Он снова закурил, закашлялся. Видимо, в освоении табака делал ещё первые шаги.

Со стороны школы донёсся дружный хор голосов. Наверное, все вышли на свежий воздух, уселись на длинной скамейке у палисадника выпускники вперемежку с учителями и поют. Интересно, а эти всё ещё там целуются?

— Я тебе должен сообщить ещё одну вещь, — сказал Миша вполголоса и оглянулся, не подслушивает ли его кто. — Меня неделю назад вызывали в горком комсомола по делу Сергея Ивановича и довольно серьёзно порекомендовали не совать

нос не в своё дело, если не желаю иметь неприятностей. Содержание нашего письма им известно. Видимо, из Москвы переслали. Поручили поговорить с Шибановым и с тобой. С Витькой я уже говорил. Вот так...

Мне вспомнился сумрачный вид Миши во время консультации по физике.

— Обожди... — начал я.

Миша сорвал с себя очки, опять надел и перебил меня:

— Минутку! Ну хорошо: допустим, мы установили доносчика. Что дальше?

— Как что? Заставим его, чтобы он пошёл в НКВД и взял своё заявление, то есть донос, обратно.

— А это ты видел! — Шумков выхватил из бокового кармана нашу городскую газету и потряс ею.

В глаза бросилась обведённая красным карандашом маленькая заметка под заголовком «Враг в роли преподавателя». В ней говорилось, что скрытый враг народа С. И. Герасимов, подвизавшийся в роли литератора, систематически разлагал учащуюся молодёжь, шельмуя советские фильмы. Герасимов изобличён и понесёт заслуженную кару.

Вот и всё.

Мне вдруг стало холодно, хотя солнце уже взошло. Странное безразличие и усталость овладели мною.

— Это всё неправда! — буркнул я. — Перегиб.

Миша поднялся, тщательно отряхнул брюки, заметил:

— Мы ещё мальчишки и глупы. В глубину не смотрим, политически близоруки. Но хватит об этом. Пойдём к ребятам.

Я отрицательно покачал головой.

Шумков ушёл.

* * *

В середине дня мама меня разбудила:

— Не забывай, что тебе сегодня на военную комиссию, — напомнила она.

Удивительное состояние покоя испытывал я весь остаток дня. Наверно, все ребята нашего класса чувствовали то же самое. Школа позади. А что впереди — время покажет. На улице мне повстречался Миша. Он добывал какие-то справки — готовил документы для поступления в МГУ. В военное училище из-за слабого зрения Шумков попасть не рассчитывал, хотя явиться на медицинскую комиссию ему тоже пришла повестка.

Пекло солнце. Миша позевнул — не выспался, сказал:

— В горком ходил, но опоздал. Завтра придётся.

— Завтра воскресенье, — напомнил я. — 22 июня. Между прочим, самый длинный день в году. А сегодня вечером нам ехать на комиссию.

— Фу ты, чёрт! С этим выпускным вечером всё в голове перепуталось. Придётся добывать справку послезавтра. Пойдём купаться.

Вечером мы, ребята, человек двадцать, собрались во дворе военкомата. Двор военкомата у нас большой, зелёный. Мы нередко ходили сюда крутиться на турнике, так как школьный часто ломался.

К нам вышел военком, низенький капитан с усталыми глазами.

Витька Шибанов вскочил и, хотя ему никто не поручал, лихо отрапортовал:

— Товарищ капитан, допризывники готовы к следованию на пристань!

Военком одобрительно улыбнулся, приказал:

— Постройте товарищей и ведите. Будете за старшего.

— Есть!

Миша Шумков вполголоса заметил:

— Ну и выскочка, оказывается, этот Витька.

Мы двинулись на пристань.

Временная пристань по случаю разлива Волги находилась на окраине города. Она представляла собой старую баржу. Вечернее солнце освещало травянистый бугор, вековые ветлы, затопленные до самой кроны, бурое днище перевёрнутого катера на воде.

Три дня назад невдалеке от пристани разыгралась трагедия.

В нашем городе проживали две широко известные личности: Гриша и Миша. Ветераны Гражданской войны, чапаевцы. Гриша к тому же был орденоносцем. В Октябрьский праздник и Первомай они всегда стояли на трибуне в качестве почётных граждан и громче всех орали «ура». Они могли работать слесарями и токарями, механиками и столярами. В общем, мастера на все руки.

Но когда напивались, били стёкла и физиономии у прохожих. В ответ на увещевания впадали в амбицию: «Ты кого, падло, смеешь учить? Чапаевцев?»

В городе долго терпели их фокусы, наконец под Новый год Мишу за хулиганство упекли на полгода за решётку.

В Первомай, когда были сказаны все речи, на трибуну влез полупьяный Гриша.

— Желаю говорить! — загремел он, отстраняя милиционера.

— Товарищи! — начал Гриша зычным голосом. — Гидра империализма не дремлет! Она хочет задушить мировую революцию

на корню! Она гноит в своих застенках нашего дорогого товарища Тельмана!

Затем, понизив голос, Гриша доверительно продолжал:

— Вот у нас тоже не всё благополучно. Мой дорогой товарищ Миша сидит в тюрьме. За что, спрашивается? Ну выпил лишку! Ну лупанул кого-то там по харе! С кем не бывает? Но ведь он кровь проливал за нашу Советскую власть!

Вновь повысив голос до ораторской громкости, Гриша гаркнул во всю мощь лёгких:

— Заканчивая свою речь, я делаю восклик: свободу товарищу Мише и товарищу Тельману!

С наступлением навигации Гриша устроился механиком-водителем на катер, который перевозил пассажиров от городской пристани до волжской. На реке разыгралась буря, тяжёлая барка с пассажирами, которую буксировал катер, налетела на него, перевернула.

Тело Гриши с трудом вытянули баграми через бортовой люк. Хоронили чапаевца с оркестром и знамёнами, на алой подушечке несли орден.

...Пришёл катер, и мы расселись на скамейках барки. За бортом кипела зелёная вода, с берегов несло дымком — рыбаки варили уху.

А Витька всё крутился возле капитана, угощал его папиросами. Капитан что-то сказал ему.

— Ребята, песню! — крикнул Шибанов.

Все охотно запели. Было так хорошо от того, что позади школа, что кругом весна, что мы все молодые и сильные.

Шумков сидел рядом со мной, старательно пел и осуждающе посматривал на меня — почему я не принимаю участия в мас-

совом мероприятии. А мне почему-то не хотелось петь. Я любовался зелёными берегами, кудрявыми лесами. Речка петляла. Вот-вот должна была показаться Волга. Я очень люблю Волгу.

Как-то получилось так, что я первый раз Волгу увидел, когда учился в пятом классе. Мне до мельчайших подробностей запомнился тот день.

Отцу понадобилось ехать на пристань получить какой-то груз, и он взял меня с собой. Рыжая кобылка трусила ленивой рысью, шёл тёплый дождь, от которого мы с отцом укрывались старой клеёнкой. Через дырочку в клеёнке виднелись мокрые кусты и вязы по бокам дороги, поляны, заросшие болотной осокой. Телегу трясло по булыжнику, скрипели колёса.

Как это часто бывает летом, дождь неожиданно кончился, засияло солнце.

— Скоро Волга, — сказал отец.

Я мгновенно вылез из-под клеёнки. Колёса застучали по корням толстенных тополей. И там, впереди, за этими толстыми тополиными стволами, что-то волнующе засинело, точно земля окончилась и начиналось сплошное небо. Запахло землёй, мокрым деревом, тиной. Оттуда, из синевы, дул ветер и доносился равномерный шум и шелест чего-то огромного и мощного.

Стволы-колонны поредели, отступили, и у меня захватило дух от сверкающего сине-голубого простора. Я даже не решался слезть с телеги.

— Можешь искупаться, если хочешь, — предложил отец, привязывая рыжуху к дереву.

Плавать я научился ещё в первом классе, и будь возле Утки — сразу же залез бы в воду, тем более солнце начало припекать. Но здесь...

Я спустился по песчаному откосу к реке. Волны лизали песок, оставляя кружева пены. Противоположный, очень крутой берег просматривался до малейших деталей. Были видны и широкий глинистый с белыми пятнами известняка откос, и курчавый лес, и мохнатые корни деревьев.

Влево река делала поворот, и берег становился сиреневым и растворялся в солнечном мареве. Эта даль манила к себе. Хотелось быть великаном и шагнуть туда, к синим горам.

Какими хрупкими и жалкими по сравнению с могучей рекой выглядели и жёлто-серый дебаркадер, и дощаные лабазы, и даже буксир, который пришёл, мерно стуча плицами. Он прошёл в отдалении, таща плоты, и затих, а возмущённые рыжие волны всё накатывались на берег, стучали пустыми лодками, звенели цепями.

В то утро я так и не осмелился лезть в Волгу. А потом, кажется в восьмом классе, мы с Вовкой из спортивного интереса ежедневно по утрам бегали за пять километров купаться на Волгу.

...Наш катерок пересёк Волгу, и мы сошли на берег. Выяснилось, что пароход прибудет только утром и ночь придётся коротать под открытым небом в обществе комаров. Можно, конечно, заночевать в комнате ожидания на дебаркадере. Но там душно, и там свирепствовали клопы.

— Ребята, костёр! — скомандовал Витька Шибанов, хотя и без него все начали собирать хворост.

Чего только мы не перепели в ту ночь: и «По диким степям Забайкалья», и «Хас-Булат удалой», и «Катюшу». Хворост в костёр таскали по очереди. Когда дошла очередь до меня, я полез на кручу, чтобы добыть сучьев посуше и потолще. За спиной у меня болтался пустой рюкзак — я его забыл снять.

Наломав солидную охапку и швырнув её вниз, увидел, что у костра никого уже нет. Одни ребята побрели спать на пристань, другие пытались залезть под брезент, которым были укрыты штабеля мешков на берегу, но сторож с руганью выгонял парней метлой.

Я решил заночевать на круче. Выбрав травянистую площадку, снял рюкзак и засунул в него голову и руки от комаров. Но проклятые насекомые с тонким писком кололи лицо даже сквозь мешковину. Кажется, я всё же забылся на полчаса, а может, и больше.

Проснулся от чьего-то голоса. Кто-то с дебаркадера спрашивал, сколько времени, и кто-то ответил, что четыре часа. У сходен слышался плеск и восхищённое аханье. Это Миша Шумков, чтобы прогнать сон, решил искупаться в холодной воде. Дома он по утрам обливался прямо у колодца.

Над Волгой стоял лёгкий туман. Синие леса ещё дремали и были неподвижны. А восток уже стал жёлто-розовым, звёзды погасли, только одна, купаясь в холодной зелени неба, всё никак не могла погаснуть.

Могли ли мы знать, что на эту звезду в тот момент тоже смотрят штурманы летящих на восток самолётов с чёрными крестами на плоскостях? А фашистские орудия вдоль нашей западной границы открыли огонь по пограничным заставам. Ничего-ничего мы этого ещё не знали...

* * *

Из Ульяновска возвращались поздно ночью. Притихшие, подавленные. Песен не пели. Миша, Витька и я забрались на гору мешков нижней палубы, пытаясь заснуть. Но сон не шёл.

На стене хрипел репродуктор: Левитан объявлял ряд областей на военном положении. Потом начали передавать старинные русские песни. В причальные пролёты тянуло прохладой и сыростью — шёл дождь. Изредка во тьме проплывали тусклые огни бакенов. У какой-то бабы внизу, возле машинного отделения, тонко и жалобно плакал больной ребёнок. Пароход дрожал, мерно и глухо стучала машина.

О войне мы узнали в час дня, когда шагали строем по улицам Ульяновска. До слуха доносились обрывки звуков радио:

— Границы... бомбили... войска? Что это такое передают? — насторожился Шумков.

— Опять, наверное, что-нибудь в Испании заварилось, — ответил я.

А час спустя, когда проходили врачебную комиссию и многие ребята уже побывали во всех кабинетах и пили в буфете ситро и ели пряники, появился наш военком. Он был серьёзен и немного растерян.

— Ребята, война! — сказал военком и оглядел нас долгим, внимательным взглядом. У меня меж лопаток пробежал холодок. Миша зябко передёрнул плечами.

И вот сейчас сидим на мешках под потолком. Витька в Ульяновске на речном вокзале сходил с военкомом и ребятами побогаче в ресторан. В окно я видел, что у них на столиках стояло вино и пиво. Сейчас Витька закрыл глаза и пытается уснуть. О нападении фашистов сказал пренебрежительно:

— Ерунда! К началу июля вышибем их с нашей территории!

Миша его мнение не поддержал. В киоске «Союзпечати» он купил карту Советского Союза и, внимательно рассматривая, точно видя в первый раз, бормотал:

— Киев и Одессу бомбили! Это чёрт знает что! Где же наши истребители были?

Потом повернулся на спину, задумчиво уставился на дрожащую под потолком лампочку. В стёклах его очков подрагивали две маленькие лампочки.

— К первому июля их, конечно, нам не вышибить. И к первому августа тоже, — заметил Миша.

— Уж не до первого ли сентября мы будем терпеть фашистов на своей территории? — съязвил я.

Шумков печально посмотрел на меня поверх очков, серьёзно сказал:

— Давай рассуждать логически. Белофинны на нас напали в декабре 1939 года. Мир с ними был заключён в марте 1940-го. Военные действия шли пять месяцев. Фронт имел длину не более двухсот километров. Германия в несколько раз сильнее Финляндии, имеет опыт войны. Фронт вытянулся на три тысячи километров. От моря до моря. Эта, брат, заварушка продлится не меньше года!

— Иди-ка ты к чёрту! — возмутился я. — Паникёр!

Миша ничего не ответил, медленно закрыл глаза.

Я думал о том, в какое училище нас направят. В авиационное меня забраковали по зрению. Неплохо бы в военно-морское. Но сегодня, когда зашёл разговор об училищах, военком сказал:

— Сейчас, голубчики, не вы будете выбирать, куда вам поступить, а мы...

* * *

Утром на сходнях я носом к носу столкнулся с Вовкой Зылёвым. Он, видимо, ненадолго приезжал домой со своего завода. Вовка спешил сесть на катер, который привёз нас на городскую пристань, даже своей кудрявой головы не повернул, когда я крикнул: «Здорово, Вовка!»

Меня это смутило.

Шумков, шедший позади, заметил:

— Вот тебе ещё одно доказательство, что Вовка — презренный трус. Узнал про войну и драпает на завод, чтобы не мобилизовали, с завода будут брать в последнюю очередь. Из таких, как Зылёв, получаются изменники. Это он донёс на Сергея Ивановича, уж точно!

У берега в воде по-прежнему колыхался перевёрнутый катер, и дождь барабанил по его облезлому рыжему днищу.

«Эх, Гриша, не дожил ты до сегодняшнего дня! — подумал я. — Уж ты бы, надраив мелом для блеска свой орден, первым рванулся на призывной пункт, как это сделал во время событий на озере Хасан и во время финской кампании».

А дома меня ошеломила мама.

— Родителей у Люси Вороновой арестовали, как раз в ту ночь, когда вы поехали на комиссию.

— За что? — выдохнул я, поражённый.

Мама пожала плечами:

— Выяснилось, что родня они с какого-то боку-припёку Сергею Ивановичу.

Она ещё что-то говорила про митинг, который состоялся вчера по случаю вероломного нападения фашистов, про первых добровольцев, из которых образовалась огромная очередь у военкомата.

Но я всё это пропускал мимо ушей. «А как же Люся? Что же она?» — сверлило мой мозг.

Глава 7

В маленьком, но старинном городке, каким являлся наш Средневолжск, чуть не у каждого жителя была куча родни. Иной горожанин и сам затруднялся перечислять всех двоюродных и троюродных братьев. Ближайшую родню знает, а дальнюю разве упомнишь?

Наш литератор Сергей Иванович был женат на женщине, тётка которой приходилась Люсиной матери сводной сестрой. Так растолковала мне мама. Но я никак не мог себе представить. Мама долго и терпеливо объясняла родословные ветви Сергея Ивановича, пока сама не запуталась.

— Жаль девчонку, — сказала мама. — Одна в доме осталась. Хоть и семнадцать лет, а ещё глупа, ребёнок.

— Как одна? — не понял я.

— Да так. Родственники все отшатнулись: боятся, как бы и их не заподозрили в соучастии к семье врага народа. А знакомые — тем более.

Я вскочил, схватил фуражку. Василий Соколов — мой несуществующий кумир поступил бы так же. Он бы пошёл к Люсе.

— Пойду к Вороновой, — твёрдо заявил я, готовый спорить и ругаться с мамой, если бы она вздумала протестовать. Но мама не возражала. Вполголоса, хотя в доме никого не было, заговорила:

— Узнай, может, что ей надо... Да успокой девчушку. Скажи, что отпустят, разберутся...

На улице дождь уже кончился, было тепло. Ветер гнал лохматые тучи. Во дворах пели петухи.

Я мчался, скользя по грязи и перепрыгивая через лужи. «А вдруг меня опередил Витька? Мамахен, конечно, не замедлила ему тоже сообщить об аресте Люсиных родителей», — размышлял я.

Вот и домик врача. Ставни закрыты, намокшая черёмуха свесила через забор свои кисти. Возле ворот мокла гора берёзовых дров. А может, и Люсю арестовали? Я нерешительно побрякал щеколдой калитки. В ответ раздался басовитый брех Гектора. Пёс у врача пегий, породистый. И до того, чтобы попусту лаять, никогда не опускается. Вот и сейчас он несколько раз бухнул, точно в пустую бочку, и смолк.

Я застучал сильнее. Гектор опять бухнул: дескать, что вы там, хозяева? Уснули? Открывайте!

Прошелестели шаги, щёлкнул запор, и передо мной предстала Люся. Глаза покрасневшие, испуганные. Бледненькая, в голубом, полинявшем от стирки коротком платье и переднике, испачканном мукой. Руки у неё тоже в муке и тесте. На босых ногах шлёпанцы.

— Здравствуй, — промямлил я. Дальше у меня просто язык не поворачивался. А Люся вдруг порывисто отвернулась и, закрыв мучными ладошками лицо, уткнулась в столб ворот.

Я глядел на её затылок с закрученными вокруг головы косами, на вздрагивающие круглые плечи, на полные икры с ямочками позади колен, и сам готов был разреветься от жалости. Обнять бы её, приласкать...

— Ты чего стряпала? — как дурак спросил я.

— ...Пшу, — всхлипнула она, что означало «лапшу».

Мама у нас всегда говорила, что лучшее лекарство от всех горестей и тягостных дум — это работа.

— Люся! — крикнул я. — У вас же дрова мокнут. Давай их стаскаем в ограду под крышу. Куда складывать — показывай.

Я по-хозяйски распахнул ворота. Гектор что-то недовольно бухнул, но тотчас завилял хвостом, одобряя мою деятельность. Взвалив на плечо первый чурбан, я грохнул его у стены сарая. На меня вдруг напало небывалое красноречие. Таская дрова, я уверял Люсю, что отца и мать у неё обязательно отпустят. Тут явное недоразумение.

Люся с надеждой смотрела на меня своими махровыми глазами. На припудренных мукой щеках образовались от слёз бороздки.

— Конечно, отпустят, — успокаивала она себя. — Вот война началась. А город остался без хирурга. — Постепенно девушка оживилась. Она принялась помогать мне закатывать чурки. За какой-нибудь час дрова оказались в ограде.

На улице снова припустил дождь. Мы уселись отдыхать на дрова. Люся рассказала, как ночью раздался резкий стук в дверь. Папа подумал, что вызывают к больному, и взял свой врачебный саквояж. Но в комнату вошли трое в серых плащах и приказали Люсиным родителям одеваться. Люся бросилась к маме, но бровастый дядька оттащил её от машины.

От печальных воспоминаний лицо девушки задрожало, губы искривились, но она сдержалась.

— Успокойся! — бормотал я. — Знаешь, давай пилить дрова! Где у вас пила?

Люся послушно встала, отыскала в чулане пилу. Но пильщицей она оказалась никудышной. Пила виляла то вправо, то влево.

За калиткой послышались чавкающие шаги, голоса. Люсины глаза округлились. Тявкнул Гектор. В дверном проёме показались Геннадий Петрович и Мишин отец.

— Ага! Вот и хозяйка! Ба, да у неё кавалер! — весело загудели они. — Полезным трудом заняты.

Люся невесело улыбнулась, но губы у нее опять начали кривиться.

— Ну-ну, перестань! — обнял девушку Мишин отец. — Всё будет хорошо, даже лучше!

Он усадил Люсю на бревно и, вынув из кармана платок, отряхнул от табачных крошек, стал, как ребёнку, утирать слёзы.

Нет, мама не совсем права. Вот Геннадий Петрович и Мишин отец пришли к Вороновым, ничего не побоялись. Они спокойно расселись на чурбаки и закурили. Геннадий Петрович был мрачен и чем-то удручён, а Шумков на редкость разговорчив.

— Вот что, девка, — молвил деловито Мишин отец, — ты документы успела отослать в институт?

Люся кивнула головой и вопросительно посмотрела на мужчин. Геннадий Петрович и Шумков переглянулись, слегка улыбнулись и враз выпустили по клубу дыма.

— У тебя в Казани кто? Тётка? Значит, у неё будешь жить во время учёбы?

Они некоторое время молчали, затем Мишин отец, откашлявшись, заговорил:

— Людмила, ты человек уже взрослый. Мужайся. С твоими родителями вышло явное недоразумение. Всё скоро выяснится. Но ваш дом казённый, и вполне возможно, что тебя придут выселять. Чтобы для тебя это не было неожиданностью, вот мы и пришли предупредить. Геннадий Петрович — наш депутат областного Совета, лицо, так сказать, официальное. Меня ты прекрасно знаешь. В общем, если что — переезжай к нам. Места хватит. Дом большой. Согласна? Ну вот и отлично!

Люся переедет к Мише! Как я ему сейчас завидовал! Девушка, которую он тоже любит, будет жить с ним под одной крышей, дышать с ним одним воздухом.

Постепенно Люся повеселела и пригласила всех нас пить чай. Самовар она мигом поставит. Но мужчины отказались от чая.

— Ты помощника вон своего угости, — сказал Шумков. — А мы пойдём, только дождь окончится.

Девушка убежала ставить самовар, а Мишин отец, увидев, как я пилю в одиночку метровые кряжи, посоветовал их только расколоть вдоль, чтобы не сопрели. Но у докторского колуна оказалось треснутым топорище. Я взялся вытёсывать новое.

Пока трудился с рубанком над берёзовым поленом, придавая ему форму топорища, Геннадий Петрович и Шумков всё сидели на чурбаках, смотрели, как льёт дождь, курили и переговаривались.

— И это безобразие в такое время... Явный перегиб.

— План выполняют.

— Какой план? — поинтересовался я. Оба ухмыльнулись, а Мишин отец пояснил:

— Такой же план, как по заготовке картошки. Допустим, в соседнем районе НКВД разоблачило десятерых врагов народа. А у нас только пять выявили. Начальство из области звонит, возмущается: почему мало? Ну вот наши из кожи лезут вон, стараются. Доктора во враги произвели. И тревоги мало, что он единственный хирург на город и район.

Было непонятно: то ли Шумков шутит, то ли говорит правду.

Геннадий Петрович спросил:

— Сводку Совинформбюро слушал утром?

Шумков крякнул, плюнул на окурок:

— Везде упорные бои.

— Да... — вздохнул Геннадий Петрович, выбивая трубку о каблук сапога, — сегодня ещё тихо в городе. А завтра закипит. В МТС с утра на телефонах все висят, тракторы и автомашины по колхозам собирают. Приказано вместе с водителями направлять в распоряжение военкомата. Чем комбайны в уборочную потянем — не представляю.

— На живую тягловую силу придётся переходить, — заметил Шумков. — На лошадку.

— Мало их сейчас, лошадок-то...

Распрощавшись, они ушли, а Люся меня позвала чаёвничать. И вот мы сидим на кухне за самоваром. Девушка заметно повеселела. Зардевшись, она спросила:

— А Витя тоже с вами утром приехал?

— Приехал... — буркнул я.

Люся уставилась в окно, по стеклу побежали дождевые капли. Наверно, о своём Вите размечталась, удивляется, почему не пришел навестить её. А Витька определённо отсыпается.

— Тебе страшно ночью одной в доме? — спросил я и покраснел, сообразив, что девчонка может истолковать мой вопрос с нехорошей стороны.

— Страшно, — призналась Люся. — Но я Гектора в кухню пускаю.

Ох, если бы мог я остаться у Люси на ночь! Спать бы лёг в сенях. Но это невозможно. Люся сама не согласится. А мама моя просто придёт в ужас.

Я как-то задержался вечером у Дуси Рыжовой. Дуся болела, и мне поручили с ней позаниматься по химии. Мама не поленилась идти ночью по осенней грязи через весь город к Рыжовым.

В ответ на моё возмущение мама безапелляционно заявила:

— Эти совместные занятия могут окончиться только одним: принесёт твоя Дуся нам с отцом кого-нибудь в подоле.

...Едва я поднялся, чтобы идти домой, как в сенях послышались быстрые шаги и в кухню вкатила сама Дуся Рыжова, в брезентовом плаще, в сапогах, голенища которых распирали могучие икры. Люся взвизгнула, и девчонки обнялись, начали лизаться.

— Ой, да здесь Яша! — тараторила Дуся, сверкая чёрными глазами. Лицо у неё щекастое и румяное, как булка, вполне годится для рекламы «В здоровом теле — здоровый дух». — А я, знаешь, только что закончила повестки военкомата разносить. Столько повесток! Ужас! Райком комсомола даже пятиклассников мобилизовал разносить их. А я к тебе с ночевой. Примешь? Мне Геннадий Петрович посоветовал зайти. И папка мой тоже. Ты, Яша, уже уходишь? Как жаль! Люся, у тебя самовар ещё горячий?

* * *

Назавтра городок наш действительно закипел. День выдался ясный и тёплый. Рокотали тракторы, подъезжали из района с призывниками автомашины. Образовалось сразу несколько призывных пунктов.

В нашей школе тоже работала призывная комиссия. У входа, на крыльце, стоял часовой из числа призывников, колыхалась огромная толпа женщин, детей и стариков. Сверкали трубы клубного оркестра.

Автомашину подгоняли задним бортом прямо к крыльцу. Из дверей школы, остриженная под машинку, выходила

очередная партия мобилизованных, поднимался женский плач и вой. Женщины кидались к бортам машины. Объятия, прощальные поцелуи. Но клубный оркестр тотчас начинал играть бодрый марш. Машина с призывниками тихо трогалась.

С самого утра мы вместе с Мишей Шумковым толклись у призывных пунктов. Многие ребята из нашего класса уже получили направления в училища, уезжали.

Миша взял с меня клятву, что я никому не проговорюсь, и сообщил, что подал заявление в военкомат с просьбой направить его на фронт. Родители убеждены, что из-за плохого зрения Мишу пошлют служить в интендантскую часть. Миша их не разубеждает. Пусть так думают. Для них спокойнее.

Так и запомнился мне наш комсорг: длинный, угловатый, в выцветшей ковбойке и больших очках, с мрачным видом наблюдающий, как в гвалте толпы отъезжают автомашины с призывниками.

— Яша, — взволнованно говорил он. — Мы с тобой свидетели страшного народного горя. Смотри и запоминай! Детям и внукам потом расскажешь! Многие из тех, кого сейчас отвозят грузовики, больше никогда не вернутся.

Миша даже порозовел от волнения и подозрительно покосился на меня поверх очков, не улыбаюсь ли его высокопарным словам. Нет, мне было не до улыбки.

Глава 8

Итак, с Витькой Шибановым едем в Горьковское училище зенитной артиллерии. Едем на пароходе. На пароходе я люблю ездить. Стоишь на носу средней палубы. Монотонно стучит машина, воркует рассекаемая вода, отваливаясь на обе стороны

парохода шипящими валами. Тугой ветер гладит лицо, расчёсывает волосы и несёт с собой и аромат лугового разнотравья, и дымок рыбацкого костра, и запахи смолы, и ещё чего-то такого волнующего, что невозможно передать словами. В такие минуты хорошо думается о прошлом, о будущем...

Всё произошло просто и быстро. Нас с Витькой вызвали в военкомат, выдали направление, литер на билеты и приказали немедленно ехать.

— Полагаю, что сдадим вступительные экзамены и вернёмся домой, — заметил Шибанов, когда мы покинули военкомат. Вид у него был меланхолический, точно у невыспавшегося.

Мы даже как следует не простились с родителями, так как были убеждены, что до первого сентября ещё поживем дома. В скупых сводках Совинформбюро говорилось об упорных боях. По-видимому, наши главные силы ещё в сражение не вступали. А как вступят — покатятся фашистские банды в своё логово.

Мама, собирая меня в дорогу, полдня пробегала по магазинам в поисках хлеба. Я с ней даже поссорился: не помру ведь с голоду, на пароходе что-нибудь куплю пожевать. Но с мамой невозможно спорить.

— Купишь ли — ещё неизвестно, — рассудительно сказала она. — А тут при себе.

Я в сердцах обозвал её паникёршей, и вот сейчас чувствовал себя самой последней скотиной. Это чувство у меня появилось третьего июля на пристани, где мы ожидали пароход в сторону Горького.

До волжской пристани мы с Витькой добрались на лодке рыбака. Катер, который доставлял пассажиров, поломался. Как и десять дней назад, в ожидании парохода мы так же

коротали ночь у костра, так же нас штурмовали комары. Только на этот раз рядом не было одноклассников, а сидели студентки. Они слезли с парохода, пришедшего с верховья. Все из Казани, все наши, средневолжские. Девчата со страхом рассказывали о первых эшелонах с ранеными красноармейцами, о затемнении. Песен не пели.

Наш пароход должен был прийти в два часа дня. Я искупался в Волге и жарился на песке, вытянув ноги. В бурой воде у берега покачивались камышинки, над нами висели стрекозы. Примчался с дебаркадера Витька, крикнул:

— Сталин выступает!

Когда я прибежал, Сталин говорил о том, что на оккупированной территории надо создавать партизанские отряды, врагу не оставлять ни килограмма зерна, ни литра горючего... Холодом повеяло от этих слов. Неужели дело зашло так далеко?

Пришёл пароход. В толпе пассажиров я увидел Люсиного отца. Он очень похож на Чехова, только без пенсне. Такая же бородка, причёска.

— Снова лоялен местной власти! — не без юмора воскликнул он, пожимая мне руку и подмигивая весёлым карим глазом.

Витька Шибанов прошествовал мимо, слегка кивнув ему головой, точно с Люсиным отцом встречался вчера.

Врач проводил его удивлённым взглядом и в недоумении повернулся ко мне за разъяснением. А что я мог объяснить? Мне самому было неудобно за Шибанова.

Нас со всех сторон толкали.

Раздался первый гудок.

— А где ваша жена? — крикнул я.

— В больнице! Приступ миокардита! — ответил он и всё

смотрел на меня вопросительно, с нетерпением, с каким-то даже страхом.

Наконец, я догадался:

— Люся здорова! Ждёт вас!

Врач вмиг засветился, заулыбался лукавой чеховской улыбкой и, оттесняемый толпой, бодро крикнул:

— Довольно бездельничать! Пора, засучив рукава, браться за ланцеты. Работы нам, хирургам, сейчас выше макушки!

* * *

Витька не пожелал ехать в четвёртом классе. Доплатил к литеру и взял билет в каюту второго класса. А мне нравится четвёртый класс, он самый демократичный. В нём, правда, душновато, но зато можно забраться на мешки или ящики под самый потолок и без устали наблюдать пристанскую суету и пассажиров. Вчера в Чебоксарах сели двое людей под конвоем милиционеров. Один из арестованных уже зрелый мужчина, второй — юнец с нагловатыми глазами хулигана. Около мужчины крутилась тощая женщина с ребёнком на руках. Перед третьим гудком она начала жадно целовать мужчину. А лупоглазый стоял рядом и неловко улыбался. Они сошли в Козловке.

В Васильсурске мешки, на которых я так уютно устроился, сгрузили. Пришлось идти на корму, но там от пассажиров яблоку негде было упасть, и я поднялся на среднюю палубу. Вахтенный матрос два раза прогонял меня вниз, наконец это ему надоело.

Фарватер реки за Казанью начинает петлять. Прибрежные горы то проявляются из солнечной дымки, то растворяются. Жарко желтеют отмели, их лижут пенные буравчики, что катятся вслед за пароходом. Вон у длинной песчаной косы чернеет совсем игрушечная лодочка. В ней копаются два человека, а третий, в белой рубашке, стоит на песке и мерно, точно дергунчик, машет вслед пароходу шляпкой. Я только на несколько секунд отвлёкся от лодки, и вот уже лодка мчится по серебряной ряби, а в ней всё в той же позе стоит человечек и всё так же мерно машет крохотной шляпкой пароходу.

Вплоть до отъезда в училище я приходил к Люсе, перепилил и переколол дрова, помог запаковать на случай переезда вещи.

Мне очень хотелось с ней поговорить по душам. Я даже сложил про себя эту речь. Она была очень выразительна и, по моим расчётам, должна потрясти девушку. Но каждый раз, когда я приходил к Вороновым, там находилась Дуся. Она без конца трещала языком, всюду совала нос и всё порывалась помогать мне колоть дрова. Как я ненавидел эту рыжуху!

— Шла бы домой, готовилась к экзаменам в свой педагогический, — гнал я её. — А то ведь в аттестате одни тройки.

Но до толстокожей Дуси не доходили мои намёки. Она мне так надоела, что я её начал выталкивать со двора. Толстуха вообразила, что с ней играют. Радостно взвизгнула и заявила:

— Да я тебя всё равно осилю!

У Дуси дома целая орава братьев и сестёр. Она самая старшая и с ними постоянно воюет. В общем, не успел я опомниться, как девчонка дала мне подножку, и мы оба шлёпнулись на траву у ворот. Я внизу, а Дуся бесцеремонно уселась мне на грудь и завопила:

— Живота или смерти?

В воротах гнулась, изнемогая от смеха, Люся:

— Ой, Дуська! Бессовестная!

Я никогда не дрался и не боролся с девчонками. Как сбросить с себя Дусю? Толкнуть в грудь? Девушку? Попытался ухватить её за тугое и толстое, как у лошади, колено, чтобы перевернуть, Дуся озорно возмутилась:

— Под подол лезешь? Нахал!

Она не нахалка? Сидит на мне верхом! Люсин голосок-колокольчик так и заливается смехом:

— Ха-ха-ха! Ой, не могу! Держите меня!

Отчаявшись сбросить с себя пятипудовую тушу, я обозвал Дусю рыжей коровой. Её все так в школе дразнили. Дуся сразу же встала и понуро побрела в ограду к Вороновым. Ко мне выскочила Люся, укоризненно заметила:

— За что ты так её? Иди, извинись! Она плачет.

— И не подумаю!

Люся что-то хотела сказать, но сдержалась. Махровые глаза её улыбались. А Витька Шибанов ни разу и не пришёл к Люсе. Люся переживала, я это заметил.

...После Чебоксар нас впервые коснулось дыхание войны. Вечером на пароходе вдруг стали менять лампочки на синие. Синие лампочки горели и на малюсенькой пристани, кажется Ильинке, к которой пароход причалил ночью.

Толкаемые любопытством к новым местам, мы с Шибановым выскочили на эту пристань и тотчас погрузились в мир шёпота вековых лип, шелеста целого моря ромашек и мерцанья июльских звёзд. Вся эта благодать находилась всего в двух шагах от пристани. Ровно дышала спящая река.

Вокруг был такой покой, что Витька воскликнул:

— Эх, сюда бы на целое лето да с девчонкой, — и блаженно растянулся на ромашковом разливе.

А я стал собирать букет.

Потом мы забежали в буфет. Он находился на втором этаже дебаркадера. Из посетителей там никого не было. Вокруг тусклой лампочки порхали ночные бабочки, в раскрытое окно гляделась тёмная Волга.

Большеглазая юная буфетчица откупорила бутылку ситро и, пока я пил, смотрела на меня каким-то странным взглядом.

— Хорошее ситро! — заметил я, чтобы погасить смущение.

— Может, ещё откупорить? — девчонка зарделась и начала заправлять волосы под косынку.

Я помотал головой и неожиданно для себя протянул ей букет ромашек.

— Ой, спасибо! Возвращайтесь, заходите ко мне в буфет!

«Возвращайтесь!.. Вернёмся ли?» Мне вспомнились мамины рассказы о том, что нацисты жестоки, выдумывают страшные пытки для своих врагов. Эти сведения она почерпнула из книг и фильмов.

Перед войной в Казани я смотрел кинокартины «Болотные солдаты» и «Доктор Мамлюк». Запомнились кадры, где фашисты на мотоциклах приезжают арестовывать еврея-доктора, а он с балкона произносит обличительную речь. Внизу беснуются штурмовики, требуя, чтобы Мамлюк замолчал. У магазина очередь из женщин, раздаются их презрительные реплики по адресу фашистов: «Чистокровные! Убийцы!»

Фильм меня потряс. Но когда выходили из кино, какой-то мужчина, идущий позади меня, заметил приятелю:

— Сейчас в Германии нет ни безработицы, ни очередей. Её заводы на войну работают. В магазинах что угодно. Фашисты ведь половину Европы ограбили. А потом немецкие обыватели

в своём фюрере души не чают: для них он национальный герой! Какому дураку придёт в голову орать на улице, что штурмовики убийцы? Коммунистическая партия там разгромлена.

...Как только пароход отчалил от Ильинки, я увидел на палубе дебаркадера белую курточку буфетчицы. Я поздно сообразил, что она ищет меня. А когда сообразил, пароход делал поворот. И я побежал по его палубе, стараясь увидеть девушку. Но корма всё поворачивалась, закрывая дебаркадер. Наконец пароход лёг на курс, но пристань была далеко и курточка на ней не белела.

В нескольких шагах от меня стояли, укрывшись одним плащом, Витька и его соседка по каюте — черноглазая студентка. Шибанов сумел уже, видимо, обворожить девчонку. И сейчас они ворковали под плащом. Потом он, кажется, ущипнул её. Девушка ойкнула, шлёпнула Витьку и удалилась, сердито стуча каблучками по палубе.

— Не очень-то ты верен Люсе, — съязвил я.

Витька вразвалку подошёл ко мне, покрутил своим волнистым носом, щёлкнул портсигаром.

— Пройденный этап, — лениво ответил он, швыряя за борт горящую спичку.

Я не нашёлся, что ответить. Вспомнил Люсины тоскующие глаза, её робкое: «А Витя приехал?» Подлец! Пошляк! Почему так несправедливо устроен свет? Она от него без ума. А он... он просто развлекается. А о ней всё время думает другой...

* * *

Горький нас встретил пристанской сутолокой, звонками трамваев. Пахло бензиновой гарью и нагретым асфальтом.

На площади возвышался памятник Чкалову. Знаменитый лётчик натягивал перчатку и внимательно вглядывался в белёсое от зноя июльское небо.

На улицах попадалось много военных, среди них немало девушек. Видно было, что форму они надели недавно. При встрече друг друга старательно приветствовали и улыбались. Самодовольно ухмылялись молодые мужчины офицерского звания, когда при виде их к пилоткам дружно взлетали девичьи руки. Будь в гражданской одежде, иная и носом бы не повела при встрече с тобой, а тут хочешь не хочешь — приветствуй и старых, и молодых.

Училище мы искали часа два, пока не наткнулись на часового с трёхцветными петлицами, который прохаживался вдоль бесконечного забора.

— Ага, нам пополнение! — заключил он, посмотрев документы, и показал куда идти.

Едва мы переступили порог проходной, едва сдали документы, как нас огорошили: приёмных экзаменов не будет — это раз, а во-вторых, через два-три дня поедем в лагеря, где в настоящее время находится весь личный состав училища. Там будем познавать скоростными методами военную науку. Этого требует обстановка.

По обширному двору с подстриженной травой бродили группами мальчишки вроде нас с Витькой. Какое разнообразие лиц, одежд, характеров! Шибанов от меня сразу же отшился — повстречал москвичей, уселся с ними возле бочки с водой курить, в общем навязался в земляки.

Меня московские ребята интересовали потому, что видели Чкалова, Ворошилова, Папанина. Я тоже подсел к ним.

Познакомился с пареньком в тенниске. Звали его Юрой Степановым. Он всё знал!

— А как разбились Серов и Осипенко? — замирая сердцем, спросил я.

— Врезались в землю, — ответил Юра. — Правую руку Осипенко нашли метрах в двадцати от места катастрофы, и часы на руке тикают.

Из стеклянной двери канцелярии вышел стройный рыжеватый военный с четырьмя треугольничками в петлицах — старшина — и зычно крикнул:

— Стройся!

Старшина заставил нас маршировать, сдваивать ряды, равняться. В его команде гремело сплошное раскатистое «р»: «р-р-равняйсь!», «смир-р-р-но!», «ма-ар-рш!».

Потом повели ужинать в огромную двухсветную столовую. Дали пшённую кашу и по кружке чаю. Обжигаясь чаем, я вспоминал домашние блюдечки. Раньше я не представлял, как можно пить чай без блюдца. Потом пошли строем в кино. И всё бесплатно.

Не знаю, как других, но меня долгое время смущала мысль, что за пищу и обмундирование я не плачу ни копейки. За всё это своим трудом платят рабочие и колхозники.

После кино объявили отбой, строго-настрого запретили курить возле окон — светомаскировка. Спать мы улеглись на голые двухъярусные кровати.

Рядом со мной расположились ребята с Украины. Все статные и чубатые хлопцы, словно сошедшие со страниц гоголевских повестей. Один толстущий, со смешной фамилией Ляжка, весь вечер, дурачась, с хохотом шлёпал босыми ногами по казарме и прыскал водой изо рта в своих земляков. За ним гонялись.

Второй — смуглый красавец, похожий на Левко из «Майской ночи», был очень недоволен, что его послали в артучилище. Он мечтал о Киевском кавалерийском. И всё ворчал. Ворчал на жару, на пшённую кашу, на воду, пахнущую хлоркой, на Волгу. Волга ему не понравилась.

Я не выдержал и заявил Левко, что он толком Волги ещё не видел, а ругает её. Хлопец бросил в мою сторону надменный взгляд, спросил:

— А ты бачил Днипро?

Нет, Днепра я не видел.

В казарму заглянул знакомый уже старшина, цыкнул на расшалившегося Ляжку. Украинцы зашумели:

— Почему матрасы и подушки не даёте?

— Послезавтра поедете в лагерь. Там всё получите, — ответил старшина и гаркнул: — Тр-р-ребую тишины! Отбой!

Назавтра украинские ребята выклянчили документы, весело начали собираться в свой Киев. Даже хмурый Левко, лихо гикнув, вскочил верхом на койку и скомандовал, крутя в руке, как саблю, грязную майку:

— Эскадрон, за мной! Шашки наголо!

Удалось ли вам, милые хлопцы, хоть добраться до Киева? Ведь немец уже подходил к нему. Может, на поезд налетели самолёты с чёрными крестами, и полегли вы под горящими обломками вагонов. А может, и добрались, но закрутила вас военная коловерть. И не в кавалерийское училище, а на рытьё противотанкового рва угодили вы. А может, увезли вас в душном вагоне в далёкую неметчину. Запылились ваши роскошные

чубы, почернели и высохли лица, потрескались от жажды губы. И верно, не раз вы с любовью вспоминали город на Волге, пшённую кашу и воду, пахнущую хлоркой.

...В казарме всё стихло. Я уложил голову на сложенный рюкзак, постелил под себя фанерку, чтобы пружины не резали тело.

Витькина койка пустовала. У москвича Юры в Горьком оказалась родня — двоюродная сестра, у которой куча подруг. И он с Витькой решил навестить сестру. Часовой на проходной ребят не пропускал. Посоветовавшись, они, видимо, махнули через забор. Ударились, так сказать, в самоволку.

В раскрытое окно пялится громадная июльская луна, она плывёт над чёрным, без единого огонька городом.

Мама, наверно, ещё не спит. Подоила козу и расчёсывает перед сном волосы. В окно нашего дома тоже смотрится луна. В форточку влетает тёплый ветер. Он колышет тюлевую шторку и доносит с заречной стороны обрывки девичьей песни:

Ночка ещё не настала,
Стану я милого ждать...

Сердце давит какая-то тяжесть. Когда же я всё-таки увижу маму?

— Никогда!

Я вздрогнул. Кто сказал эти слова? Но в казарме тихо. Кто-то бормочет во сне, под чьим-то телом скрипят пружины. За окном прозвенел последний трамвай. Луна уже сместилась за простенок. На крашеном полу тень от оконного переплёта похожа на кладбищенский крест. Видимо, я всё-таки заснул и мне

почудился голос. Сердце бьётся тревожно. Ну так и есть. Я лежал на левом боку. Когда я сплю на левом боку, всегда снится что-то печальное.

Глава 9

Когда я слышу слова «лето 1941 года», у меня в ушах начинает звучать популярная песня того года — «Синий платочек». Лирически грустноватая, она летела из раскрытых дверей теплушек, с платформ, заставленных орудиями и танками. Её можно было слышать на пристанционных платформах, под аккомпанемент паровозных гудков и звон буферов.

* * *

...На многие километры раскинулся пышный сосняк. В одном месте он расступается, уступая место озеру, заросшему осокой и кувшинками. Вдоль озера — ухабистая пыльная дорога и длиннющий решетчатый забор лагеря зенитного училища.

Утро. Время без пятнадцати шесть. Я просыпаюсь, словно от толчка, хотя спать ещё здорово хочется. Вокруг меня на двухэтажных нарах храпят под плащ-палатками сокурсники или, как будет правильнее, курсанты.

Месяц назад нас наголо обстригли, облачили в брюки и гимнастёрки с трёхцветными петлицами, обули в душные кирзовые сапоги, разбили на батареи, взводы и отделения.

Старшина батареи, горластый и носатый Янко, выстроив нас, объявил:

— Теперь вы все — курсанты. Никаких Петек и Ванек. Услышу — накажу. Обращаться: курсант товарищ Иванов или курсант товарищ Петров. Ясно?

Военная жизнь мне нравилась чёткостью и простотой. Никакого бюрократизма, волокиты, неясностей. Если виноват — получай наряд, отличился — поощрят. Вот только бы скинуть сапоги, от которых к вечеру ноги гудят, как телеграфные столбы. Одеть бы ботинки. Своими мыслями я поделился с Юрой Степановым. У него отец генерал.

— Большинство зарубежных армий носят ботинки, — сказал всезнающий Юра. — Но зато в сапогах по любой грязи пройдёшь. А американцы и англичане толком ещё никогда не воевали. Походили бы они в своих ботинках по нашим просёлкам осенью.

Витька Шибанов с первых же дней нахождения в училище из кожи лез вон, чтобы отличиться. Форма на нём сидела превосходно. Если докладывал о чём-нибудь начальству, то орал так, что в ушах звенело. Витькино рвение было замечено, и он стал командиром отделения. В петлицах у него появился красный треугольник.

А Юру Степанова сделали нашим помкомвзвода. Когда я его начал поздравлять, он недовольно отмахнулся:

— Это фамилия отца сыграла свою роль. Если бы не война, я начал бы службу с рядового. У папы даже своя пословица есть: «Плох тот генерал, который не был солдатом».

Об отце Юра говорил много и с любовью. А я ему завидовал. Впрочем, однажды рассказал про маму. Степанов, узнав, что я с месяц не писал ей писем, страшно возмутился, поставил меня по стойке «смирно» приказал немедленно писать в Средневолжск.

С Витькой Степанов раздружился. В ответ на моё недоумение недовольно поморщился:

— Шибанов не страдает скромностью, как я заметил. Такие люди мне не по душе.

...У входа, возле тумбочки дневального, движение. Подо мной на нижнем ярусе дежурный предлагает:

— Товарищ курсант, снимите брюки. Подъёма ещё нет.

— Но ведь через три минуты...

— Снимите брюки, вам говорят. Как ваша фамилия?

— Но я...

— Как ваша фамилия?

Через открытое окно доносится серебряное пение трубы.

— Подъём! — дневальные ревут в две глотки.

Миг, и вся огромная казарма приходит в движение.

Я прыгаю со своего ложа одним из первых. Едва успеваю надеть сапоги, как на мою голову обрушивается Паша Кожухов — толстощёкий увалень, очень похожий видом и повадками на огромного ребёнка, особенно когда хохочет. А хохочет он взахлёб, с подвизгиванием. Курсанты посмеиваются над нарочитой ребячливостью Паши, но толстяка ничего не может пронять.

— Где моя портянка? — гудит Кожухов. На одевание даётся ровно минута. Янко уже стоит на крыльце и смотрит на часы.

— Становись! Р-р-равняйсь! Смирно!

После этой команды в строй без разрешения вставать нельзя.

— Товарищ старшина, разрешите встать в строй!

Это просит Кожухов. Возле него ещё двое опоздавших.

Янко не обращает на них внимания. Обходит строй, кого-то отчитывает за разговоры и только потом оборачивается:

— Ага! Кожухов! Опять! Так-так... Полы мыть захотел?

У соседних казарм батареи занимаются физзарядкой. Наш Янко её не признаёт. Он считает бег самым лучшим видом

зарядки. В движении участвуют руки, ноги, тело, лёгкие. И мы мчимся по аллеям за ограду лагеря, подымая кучи пыли. Янко не одинок в своей теории. Между сосен видны белые облака нательных рубах других бегущих батарей.

Затем — туалет. Одни курсанты летят на озеро. Это дальше. Другие — к длинным умывальникам. Тут очереди. С наслаждением лью на шею из дудочки холодную воду. Рыжее солнце плутает между стволов сосен, слепит глаза. Со стороны плаца, где открытая эстрада со скамейками, из репродуктора стонет голос Шульженко: «Ну кто в нашем крае Челиты не знает?..»

Чистим обувь, затягиваем ремнями животы, и вот батарея на утренней поверке. Идёт ревизия заправки и чистоты подворотничков. Курсанты с грязными подворотничками получают внушение или наказание. Паше не повезло второй раз. Толстяк ленив, и потому взыскания сыплются на него как из худого мешка.

— Ага, Кожухов, опять грязный подворотничок! — голос старшины полон ехидства. — А ну, выйти из строя. Два наряда вне очереди! Повторите приказание!

Паша наказания встречает с философским спокойствием, находя даже в них положительные стороны.

— Вот вы четыре часа на жаре строевой вкалываете, а я в это время пол прохладной водичкой мыл. Помоешь, посидишь в холодке, покуришь. Благодать! К Марусе можно сбегать.

Маруся — это официантка из комсоставской столовой, с которой толстяк успел снюхаться. Она подкармливает своего воздыхателя бутербродами с ветчиной и сметаной.

На завтрак идём с песней. На занятие — тоже. Песня в армии ценится высоко. Запевалы в почёте, вышагивают они всегда впереди.

Первые два часа по расписанию — материальная часть зенитной пушки. Наш взвод стоит полукругом возле песчаного котлована, в котором, задрав ствол в безоблачное небо, застыло орудие. У него десятки узлов, коробки с циферблатами, от которых змеятся резиновые кабели.

Занятия ведёт командир взвода Погорелов, черноволосый богатырь. Он из учителей. В меру добрый, в меру строгий. Никогда не орёт на курсанта, как командир второго взвода лейтенант Ермолаев. Взвод влюблён в Погорелова.

— Сегодня у нас полуавтоматика и её действие при стрельбе, — называет тему лейтенант. И проницательным оком оглядывает курсантов.

Он объясняет, что полуавтоматика нужна для автоматического открывателя затвора после выстрела, что действие её основано на законе инерции. Звучат слова: «защёлка», «шток», «стакан»...

Увы, на гражданке с техникой мне сталкиваться не приходилось. И в моём воображении возникают защёлка от садовой калитки, отцовский стеклянный стакан с золотым ободком, из которого он любил пить чай. А немецкое слово «шток» я перевожу на русский язык как «палка», и догадываюсь, что этот самый «шток», очевидно, имеет форму палки.

Витьке матчасть даётся легко. Ещё бы! Он частенько торчал у отца в мастерских МТС, нахватался там технических терминов.

— Курсант Софонов!

Я вздрагиваю.

Чёрные глаза Погорелова смотрят на меня с укоризной.

— В облаках витаете?

Из лагеря несётся пение трубы — сигнал на перерыв. Курящие идут под сосну, где врыта бочка с водой, а мы, некурящие, бродим между пушек, обсуждаем их боевые достоинства.

— Старое это, — пренебрежительно замечает Юра, кивая на надпись на стволе «1931 год». — Для военной техники десять лет уже старость.

Не сговариваясь, мы поворачиваем головы к котлованам, где возвышаются две пушки образца 1938 года. Она на резиновых автомобильных колёсах, выглядит изящно, хотя калибр у неё больше, но с ними нас пока не знакомят. Погорелов дал понять, что нам, по всей вероятности, придётся воевать с орудием старого образца. Новых пока ещё очень мало.

Урок артиллерии. Он проходит в классе. А классы у нас за лагерем под соснами. В землю вкопаны скамейки и столы. На столбах чернеют доски. Эти классы мы сооружали сами.

Артиллерию преподаёт лейтенант Корж. Он кряжистый и плечистый, с узким, хитроватым лицом. Корж очень серьёзно выслушивает рапорт дежурного, чётко поворачивается и зычно произносит:

— Здравствуйте, товарищи курсанты!

Мы дружно здороваемся, и урок начинается. Нет, сегодня Кожухову определённо не везёт. Корж вызвал его к доске рассказать про действия командира батареи при налёте штурмовой авиации. Толстяк, конечно, вечер провёл с Марусей и к ответу не готов. Он надувает щёки и закатывает глаза с явной целью посмешить сокурсников и Коржа. Корчит из себя этакого милягу. В школе, видимо, подобный метод Кожухову приносил успех. Из взвода кое-кто фыркает, но Корж взрывается.

— Вы мне глазки не стройте: я женатый! — гремит он на весь лес. — Итак, к батарее приближаются самолёты. Дальность десять километров. Ваши действия?

Паша пыхтит, думает, даже лоб становится мокрым.

— Дальность пять километров... — бесстрастно сообщает преподаватель.

— Взрыватель тридцать три! Огонь! — ревёт, как из бочки, Кожухов.

— Самолёты над батареей. Пикируют.

— Взрыватель восемь! Огонь!

— Рвутся бомбы. Дальномер перевёрнут. Убит командир огневого взвода. Осколок впивается вам в лоб. Садитесь, курсант Кожухов. Плохо!

Следующим вызывают младшего сержанта Голышева. Это русокудрый, веснушчатый и самовлюблённый паренёк. Правда, со своими пышными кудрями он, как и все, расстался на второй день пребывания в лагере. В грудном кармане гимнастёрки, рядом с комсомольским билетом, Голышев хранит две фотографии. На одной изображена пышнорукая дама. На обратной стороне надпись: «Милому Сержику от горячо любящей мамочки». На второй фотографии — голенастая, полногрудая девушка спортивного склада. Надпись всего из двух слов: «Навсегда твоя. Г.». Каждый вечер перед отбоем любящий Сержик осторожно вынимает эти фотоснимки, выразительно смотрит на них, потом так же бережно завёртывает в целлофан и прячет. Ребята считают, что Голышев — маменькин сыночек, каких в наше время редко встретишь.

Голышев при ответе стоит по стойке смирно, губы бантиком, как у мамочки на фотографии, и не мигая смотрит на Коржа.

— Расскажите про фронтальное и облическое движение танка, — предлагает Корж.

— Разрешите отвечать? — Сержик звонко щёлкает каблуками, отвечает, точно из пулемёта строчит, и строевым шагом отправляется на место. Одним словом, образцовый курсант.

После обеда и мёртвого часа — строевая подготовка. Сегодня — отработка приветствий. У Витьки Шибанова всё идёт как по маслу. А у меня не получается, хотя стараюсь изо всех сил. Сначала меня гонял по жаркому пыльному плацу лейтенант Погорелов. Потом ему надоело, и он перепоручил помкомвзводу. Юра мне заметил:

— Ты чересчур напрягаешься. В этом вся беда. Ты тело неси легко, руками делай чёткие отмахи. А ну, шагом марш!

В перерыве сидим с ним под сосной. Подошвы ног у меня горят, спина сырая.

— Для чего это нас строевой по четыре часа гоняют? — ворчу я, обтирая шею пилоткой. — Лучше бы побольше артиллерией заниматься или матчастью.

Юра задумчиво улыбается.

— Строевая подготовка дисциплинирует воина, подтягивает. — Помолчав, замечает: — В какой-то мере, может, ты и прав. Сейчас, когда фашист прёт по нашей земле, шагистики бы поменьше надо... — Он начинает хмуриться, кусает травинку.

Я догадываюсь, что Юра думает о Москве. Два дня назад по лагерю пронеслась весть, что столицу бомбили. Потом об этом кратко сообщили газеты. Весть огорошила многих. Не верилось!

Юра и ещё несколько ребят-москвичей подали рапорты с просьбой направить их на батареи ПВО столицы в качестве рядовых.

Степанова вызвал на беседу комиссар училища. Юра от него вернулся мрачным, комкая в кулаке свой рапорт.

На аллеях лагеря появились фанерные щиты с изображениями фашистских самолётов в плане, сбоку и спереди. А вчера вечером состоялся первый выпуск лейтенантов. Учебу они начали ещё до войны. И если бы не война, им бы ещё полгода рубать строевой.

Новоиспечённые средние командиры выстроились вечером перед зданием штаба. Все в скрипучих портупеях и сияющих хромовых сапожках. На воротниках гимнастёрок чернели петлицы, окаймлённые золотым кручёным кантом, рубиновыми каплями поблёскивали «кубари».

Выпускников поздравил начальник училища, оркестр играл марш, лейтенанты дружно орали «ура». Потом, в ожидании отправки на станцию, они бродили по лагерю, пели «Синий платочек» и «Раскинулось море широко». Им завидовали. Вчерашние их однокашники первыми козыряли при встрече. Выпускников направили в Москву.

...Самые приятные часы в лагере — это часы самоподготовки. Винтовка, закреплённая за тобой, почищена, на ужин уже сходили. Но во дворе по-летнему светло. Можно почитать книжку или просто посидеть под соснами. Я в красном уголке пишу письмо маме. Мама в последнем письме сообщила, что в Средневолжске никого из нашего бывшего 10 «б» не осталось, что отца, как и всех стариков, которым под шестьдесят, мобилизовали копать где-то за Волгой противотанковый ров. И ни слова о Люсе Вороновой, о её семье.

В открытые окна красного уголка долетают команды и звуки оркестра — там, на плацу, идёт развод караула. Со стороны

спортплощадки несутся крики и смех — кто-то на турнике лихо крутит «солнце».

Звук трубы не даёт мне дописать письмо — вечерняя поверка. На аллее-линейке, что тянется вдоль плаца, днём никто не ходит. Она священна. Тщательно подметена, посыпана песком, на её концах «грибки» с часовыми. Вечером на этой линейке выстраиваются все батареи училища. Звучат рапорты, команды «смирно». В тишине поёт труба, курсанты расходятся по казармам на отдых.

* * *

Но сегодня наша батарея не пошла спать. Перед строем появился комбат и объявил, что будем копать щели укрытия на случай воздушных налётов.

Вооружившись лопатами, идём на опушку сосняка и принимаемся за дело. В плане щель укрытия похожа на гигантскую букву «М». В лесу полутьма. Слышны лишь шелест песка, треск сучьев и скрип хвои. Над головой дремлют сосны, в их вершинах путаются звёзды. Тёмные фигуры курсантов постепенно погружаются в землю — сначала по колено, по пояс, наконец и головы не видно, только горы влажного песка.

Разговоры и шутки стихают. Страшно хочется прислониться к прохладной стенке траншеи и забыться минут на десять, ну на пять, не больше...

— Заканчивайте, товарищи, заканчивайте!

Это лейтенант Погорелов. Он тоже целый день на ногах. Но бодрится и даже шутит.

— Сколько за эту войну земли будет перерыто! — доносится откуда-то голос Сержика.

— И больше половины зря, — замечает голос Кожухова из-за кучи. — Сюда разве немец дойдёт? Конечно, нет. А мы копаем.

Кожухова никто не поддерживает, но никто ему не возражает, ведь если фашисты очутятся здесь, значит Москва будет у них в тылу. Нет, об этом даже подумать страшно.

Вершины сосен светлеют, восток становится лимонным. Комары, назойливо липнувшие всю ночь к потному лицу и рукам, куда-то исчезают.

— Кончай работу, выходи строиться! — командует Погорелов.

Бредём на гудящих ногах к казарме. До подъёма два часа. Это целых сто двадцать минут! Как мила подушка, набитая соломой, и шершавая, жестянно шумящая плащ-палатка, служащая вместо одеяла.

Глава 10

Человек может прожить многие годы, и если у него ничего не случилось за это время значительного, то жизнь представляется единым мигом, памяти просто не за что зацепиться.

С момента, как мы получили аттестаты об окончании десятилетки, прошло всего каких-то четыре месяца. Но за эти месяцы столько событий свалилось на меня, столько довелось перевидать и пережить, что если разложить все их по годам, то хватило бы на добрый десяток лет.

...Я медленно шагаю посередине асфальтовой мостовой. На мне каска, от тяжести которой слегка побаливает голова, за плечами — винтовка. Ослепительная луна повисла в ледяном воздухе в самом зените, и я топчу свою тень. Чёрные тени

лежат от мёртвых, без единого огонька, корпусов нашего училища, от застывших трамваев и телеграфных столбов.

В этом замёрзшем чёрно-синем мире царят только три звука: шарканье моих подкованных сапог, глухие хлопки снарядных разрывов в вышине и мелодичное пение осколков. Осколки звенят по крышам домов и мостовой. На Горький идёт воздушный налёт. «Хенкели» рвутся к автозаводу. Он довольно далеко от училища. Но обвальные разрывы бомб слышны отчётливо.

Наша батарея дежурная. Мне нравятся дежурства: ночь спишь не раздеваясь. Это хорошо, так как в казарме холодно — на улице ноябрь. При воздушной тревоге бежишь не в сырые щели, что отрыты во дворе училища, а на пост. Мой пост сегодня — улица, примыкающая к училищу с восточной стороны.

С южной стороны патрулирует Голышев. В каске, со своей худенькой фигуркой, он похож на опёнка. На боку посверкивает новой кожей полевая сумка — предмет зависти всех курсантов и даже офицеров.

В конце сентября, когда мы вернулись из лагерей на зимние квартиры, направились в поле на тактические занятия, с тротуара навстречу взводу шагнули две женские фигуры.

— Сержик! — грудным голосом окликнула Голышева дама в шляпке. А вторая, в коричневом пальто, статная и длинноногая, радостно засмеялась. «Мамочка и невеста», — догадался я, вспомнив фотографии.

Сержик сразу же вышел из строя. Курсанты оживились.

— Конь, а не девчонка! Ей бы в баскетбол только играть.

— А ножки и фигурка — что надо!

— Отставить разговорчики! — прикрикнул Юра.

Голышева не было на занятиях весь день. На ночь он выпросил у комбата увольнительную. А наутро потряс всех своей роскошной сумкой, которою ему, как будущему командиру, подарила невеста.

Голышеву многие ребята завидуют: не у всякого ведь есть невеста. У меня её тоже нет. И девушку я целовал только один раз. Впрочем, месяц назад меня поцеловала девушка, вернее девочка. Я даже не знаю её имени.

Случилось это, когда я стоял на посту у склада с картошкой. Склад располагался на берегу Волги, возле грузовых пристаней.

С верховьев пришёл пароход. Но у дебаркадеров разгружались транспорты с ранеными, и поэтому пассажиров стали высаживать в лодки. Это были эвакуированные из верхневолжских городов. Все с узлами и чемоданами. Одну из лодок так нагрузили, что её борта оказались вровень с водой. Я подумал, что если сейчас пойдёт какой-нибудь буксир, то случится беда. И словно в ответ на мои мысли с низовья донёсся стук мотора — летел катер. Волна качнула лодку, раздались крики, в воду кувыркнулись узлы и важно поплыли. Это метрах в двадцати от берега.

Один из узлов потянуло к барже, а за него держалась девочка лет пятнадцати, в голубом берете, и тонко вскрикивала:

— Ой! Ой! Ой!

Я сразу понял, что плавать она не умеет. Её затянет под баржу. Не помню, как сбросил с себя шинель и сапоги, прыгнул в реку. Тело обожгло холодом. Несколько взмахов руками, и я возле узла. Он намок и стал погружаться, а из-за узла на меня глядели застывшие в ужасе чёрные глаза. Девчонка рванулась ко мне, и я едва избежал её цепкой руки. Девчушка хлебнула воды, закашлялась. Мне удалось схватить её за косы.

Она судорожно билась, поднимая брызги, захлёбывалась, мешая мне плыть. Вдруг, вывернувшись, мёртвой хваткой уцепилась за шею. Ноги мои пошли вниз, и я... встал — дно оказалось близко. Так я и выбрался на берег с черноглазой на шее, не успев испугаться, что мог бы утонуть.

А к нам уже бежали люди. Дрожащую девчонку стали обнимать и укутывать в шаль женщина и старуха. Но она вдруг бросилась ко мне на шею, перед глазами появились её огромные выразительные очи, а к губам крепко прижались её вздрагивающие холодные губки. И всё это молча.

Опомнился, когда все ушли. Под ногами с одежды натекла лужа, зуб не попадал на зуб.

Возле брошенной шинели стоял Витька Шибанов со сменой — он был разводящим — и, держа мою винтовку за ствол, иронически ухмылялся.

— Какое наказание последует, если я доложу начальнику караула, что ты ушёл с поста да ещё бросил винтовку?

— Но ты же видел, что я делал?

— Ты ушёл с поста! — веско изрёк Витька. Несколько секунд разглядывал мою мокрую фигуру, покачивая винтовку на прикладе, точно раздумывая, отдать ли. Потом толкнул её мне и ушёл.

«Неужели доложит?» — размышлял я, уныло шагая в караульное помещение. Но если бы не я, девочка утонула бы, это уж точно! Конечно, можно было выстрелить в воздух. Однако пока бы в карауле услышали, пока бы бежали... А тут дорога каждая секунда. «Ну и пусть докладывает, — устало подумал я, устраиваясь возле пылающей печки и сдирая с себя обмундирование. — А девочка будет жить...»

...Мигание разрывов всё меньше и меньше, стихает и пение осколков, гаснут на горизонте прожектора. Видимо, последняя волна самолётов, отбомбившись, улетела. Скоро отбой. Интересно, сколько собьёт в эту ночь стервятников ПВО города? В первый налёт их сбили 12 штук. Этот налёт мне здорово запомнился.

Вот как это было. Из лагерей мы вернулись в начале сентября. Шли через весь город строем, в новом обмундировании, со скатками через плечо, которые немилосердно тёрли шеи. Шли и пели песни. Мерно покачивались штыки винтовок. Вдоль тротуаров стоял народ. Гремел оркестр. Ещё по-летнему сияло солнце. Девушки бросали в ряды цветы. И не верилось, что где-то гремит война и умирают люди.

Началась учёба. Проходила она в классах, в поле, в артпарке. А сводки Информбюро были всё хуже и хуже. По ночам мы во дворе училища рыли щели укрытия, а на пустырях — огневые позиции для батарей, и страшно мечтали хорошо выспаться, так как спали по 5–6 часов.

— Будьте довольны, что над вами не мокрое небо, а крыша, и спите на простынях, а не на глине, — говорил нам лейтенант Погорелов.

За два дня до праздника Октября Янко на утренней поверке не стал изучать чистоту курсантских подворотничков, а объявил, что вся батарея отправляется на разгрузку баржи с дровами. Баржу мы разгружали вплоть до вечера, перекидывая метровые сырые поленья по цепочке. Мне пришлось передавать поленья Паше Кожухову. А он неповоротливый. Пока возьмёт полено да пока передаст соседу — пообедать можно. Сосед справа начал злиться.

— Шевелись живее! — закричал я на толстяка.

— Что-о-о? — уставился Паша на меня заплывшими жиром глазами.

Я хотел оттолкнуть его, как вдруг послышался рёв моторов и из-за береговой кручи вынырнул чёрный в наступающих сумерках самолёт со слегка отогнутыми назад крыльями — «Хенкель-111». Дальнейшее произошло в считаные секунды. От железнодорожного моста и с тёмных барж, что стояли на середине реки, враз забили крупнокалиберные пулемёты и пушки МЗА. Зелёные трассы помчались к «Хенкелю». А он, сделав небольшой вираж, огрызнулся короткой красной трассой и растаял в туче. Вслед ему ещё долго неслись замутнённые облаками оранжевые шары разрывов.

Бросив разгрузку, мы мчались по пустынным улицам к училищу. Сзади надрывал горло Янко, подгоняя отстающих. В училище батареи сидели в щелях, нас тоже туда загнали. В сырой темноте слышались возбуждённые голоса Юры, Паши...

— Как даст из нижнего люка очередью!

— Один разрыв буквально рядом с правым мотором. Уверен, что фриц привезёт осколки на аэродром.

— Если только привезёт...

Делились переживаниями мы недолго. У входа послышалась команда:

— Выходи!

На улице совсем стемнело. Тучи поредели. Морозило. У входа стояли двое военных в серых плащах и торопливо отсчитывали выходящих:

— ...Девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два... Бегом на вторую машину!

Ничего не понимая, мы карабкались на грузовики с высокими бортами, что стояли на асфальте у ворот училища. Скрипнули решётчатые ворота, и машины понеслись по пустынным улицам Горького. Мы пересекали какие-то площади, спускались и поднимались по каким-то склонам. Наконец вырвались на шоссе. Небо окончательно прояснилось, появилась луна, и вдруг все сквозь шум моторов грузовиков различили нарастающий ровный гул.

— А ведь это, братцы, фашистские самолёты, — каким-то тонким голосом произнёс Голышев. — И много!

В следующее мгновение горизонт вокруг запульсировал багровыми зарницами артиллерийского огня: батареи ПВО города вступили в бой. Голубые мечи прожекторов заметались по небу.

За бортом машины замелькали каменные строения, поплыли корпуса какого-то завода. Остановились.

— Ребята, смотрите, что фашист натворил! — крикнул Юра.

Длинный трёхэтажный корпус цеха был разрублен бомбой надвое. Металлическая труба рухнула, смяв забор. Её «шляпа» валялась на дороге.

В проходной нам выдали лопаты и приказали освободить от кирпичей цех — в его подвале находились люди, и их надо было откапывать. Вместе с солдатами гарнизона мы перебрасывали кирпичи, лица и шинели побелели от извёстки. А над головой, в лунном холодном небе, то всплывала, то угасала стрельба, метались лучи прожекторов.

Над нами поскрипывали торчащие во все стороны доски уцелевшей половины цеха, чернели скрученные штопором какие-то трубы и арматура.

Неожиданно сквозь звон лопат я различил слабый стон, он шёл со второго этажа. Его услышал и Юра. И проворно полез по доскам вверх.

— Эй, парень, жизнь надоела?

— Куда прёшь? Придавит! — послышалось вокруг.

— Там человек стонет! — крикнул я и устремился за Юрой.

Мы ползли с ним между станками, изрезали о металлическую стружку руки, под сапогами хрупало стекло, путались какие-то провода, белели лунные квадраты окон.

У разломанной взрывной волной будки мастера, точно такая же будка была у Геннадия Петровича в МТС, обнаружили раненого, а точнее раненую. Это была молодая женщина в стёганке. Она лежала навзничь. Подол платья загнулся, обнажив нитяные белые чулки, подвязанные выше колен. Юра схватил женщину за плечи, я — за ноги и тотчас дикий вопль резанул уши.

— Эй, носилки дайте! — крикнул Юра вниз.

Раненую с трудом спустили. Кто-то из заводских наклонился над ней, горестно охнул:

— Глашенька! Лучшая наша токарь. Орденоносец!

Глашу мы вынесли за проходную. Шоссе уже было забито санитарными машинами. Шофер ближайшей из них кинулся к нам:

— Ребята, давай в мою! Ох, сволочь-фашист! Что наделал!

Потом пошли ещё раненые и убитые, невероятно искалеченные кирпичами, запорошенные извёсткой.

Ноги спотыкались у нас от усталости, руки ныли, мозг туманился. Под утро к нам подошёл Погорелов, тоже произвесткованный, и приказал Степанову собирать взвод, чтобы ехать в училище.

Юра построил взвод. Не было только Шибанова и Кожухова. Кто-то сказал, что видел их в соседнем корпусе, там находился раскуроченный взрывной волной буфет. Степанов приказал мне отыскать Витьку и Пашу. Но когда я побежал, он догнал меня.

— Это свинство со стороны Шибанова: ребята работают, а он отвиливает, — ворчал Юра.

В коридоре, куда мы вошли, было темно. Только в его конце белело окно. Мы направились туда, и чуть не разбили лбы, споткнувшись о сорванную дверь. В маленькой комнатке, освещённой луной, на полу лежала мёртвая буфетчица, чернела лужа крови, и валялись буханки. А рядом, облокотившись о прилавок, стояли Шибанов с Кожуховым и ужинали. Паша, сопя и давясь, откусывал огромные куски хлеба и глотал их не жуя. Витька деловито очищал складным ножом буханку от крови, крошки летели на убитую.

Юра был так возмущён увиденным, что первое мгновение не знал что сказать.

— Как вам не стыдно, младший сержант Шибанов! — вполголоса воскликнул Юра, и голос его задрожал.

Витька спокойно разломал хлеб, откусил и продекламировал:

— Мирно спи во гробе спящий, жизнью пользуйся, живущий.

— Прекратить! — уже полным голосом крикнул Юра. — Какой цинизм!

— А что, собственно, произошло, сержант Степанов? — поинтересовался Шибанов. — Этот хлеб для продажи уже не годен. Его выбросят. Поэтому мы с Павлом Ивановичем решили отправить его по прямому назначению.

— Идите строиться! — скомандовал Юра и вытянулся по стойке смирно.

— С этого бы и начал! — буркнул Витька, рассовывая остатки хлеба по карманам шинели.

Всю дорогу, пока мы ехали до училища, Юра, сидя рядом со мной, удивлялся:

— Впервые вижу человека, у которого поднялась рука бросать крошки на мёртвого. Какое кощунство! Я голоден не меньше Шибанова, но никогда бы не решился есть этот хлеб... Странный человек Шибанов. Недавно фотографию своей девушки показывал. Симпатичная! Хвастался, что обладал ею. Ты знаешь эту девушку?

Я до боли сжал зубы, чтобы не закричать: «Неправда! Врёт он, врёт всё. Мерзавец!»

А Юра продолжал:

— Если бы я любил девушку, никогда и никому бы не стал рассказывать о таких вещах. Это непорядочно и низко. Ты как считаешь?

Я снова ничего не ответил. Неужели правда? Ту фотографию, о которой говорил Юра, я видел у Витьки ещё в лагере.

Мы тогда в поле копали огневую позицию. Спать легли в ровиках, прямо на снарядные ящики. Под утро меня разбудил дежурить у пушки Кожухов, а сам лёг на мое место. В соседнем ровике храпели Витька с Голышевым. Одну шинель они постелили под себя, а второй укрылись. Из кармана Витькиной шинели вылетел голубой конверт. Я уже собирался засунуть его обратно, как вдруг из конверта выскользнула фотография. Люся! Она стояла в купальнике у лодки. Хохочущая, красивая. Видимо, в Казани фотографировалась. Понимая, что поступаю скверно, я развернул письмо. Какой знакомый почерк! Сколько стенгазет было написано этим почерком! Люся сообщала, что учится на первом курсе медицинского института, что после лекции с подругами ухаживает в госпитале за ранеными, что собирается перейти на фельдшерские ускоренные курсы, так как сейчас очень нужны медики, что отец её на фронте в санбате, что она, Люся, любит-любит Витюшу и бессчётно раз целует.

Будь я девчонкой, сразу бы не влюбился в Витьку. Вот Юра Степанов — другое дело. Он, конечно, не красивее Витьки, но в сто раз душевнее. Он много читал, увлекательно и остроумно может рассказывать.

...Вон и сам Юра идёт. Он сегодня — помощник начальника караула.

Стрельба совсем утихла. В стороне автозавода расплылось огромное зарево. Видимо, немцы всё же дорвались до завода.

— Как самочувствие? Не замёрз? — Юра выбил чечётку на асфальте, позевнул. На боку у него, как и у нас, висит противогаз, на поясе — наган, как и полагается помощнику начальника караула. Юра недавно ездил в Москву к раненому отцу. — Папка уже ходит. Он у меня молодец! На фронт рвётся, — улыбнулся Юра и тут же помрачнел. — А вообще положение под столицей очень тяжёлое. На окраинах баррикады, ежи из рельсов. Но Москву не сдадут! Уж это точно! Знаешь, сколько войск я видел на станциях? Тьма! А сколько не видел! Наши что-то готовят. Я так думаю. Эх, скорее бы, Яшка!

Мы поговорили о выступлении Сталина седьмого ноября, о параде на Красной площади. Юра посмотрел на часы:

— Могу тебе сказать новость. Только пока никому! После-

завтра наша батарея выходит на огневую позицию. Будем охранять Горький от воздушных налётов и учиться.

* * *

Уже месяц, как наша курсантская батарея встала на огневую позицию. Она расположилась на крутом берегу. С трёх сторон глубокие овраги, а с четвёртой — перемычка. В общем, живём как на полуострове. За оврагами и рекой — городские дома, придавленные снегом, с бельмами замороженных окон. По утрам морозный туман ползёт от реки, покрывая куржаком стволы орудий, снарядные ящики и фигуры часовых.

Ох и досталось нам копать огневую позицию! Хлестал ветер с дождём и снегом. А мы, перемазанные глиной до пояса, в раскисших сапогах всю ночь рыли ровики и землянки.

Я копал вместе с Кожуховым и Голышевым. Бил ломом затвердевшую землю, а они выбрасывали её совковыми лопатами. Кожухов, хоть и покряхтывал, но работал споро. А Сержик покопает-покопает и замрёт, скрючившись, как столетний дед. Снег его мигом облепит, и через минуту он становится похожим на снеговика.

— Шевелись, Голышев, — подходит Юра. — Совсем ведь застыл.

— Я младший сержант, могу и не копать! — заносчиво огрызается Сержик дрожащим от холода голосом.

— А я сержант! — в сердцах бросает Юра и, вырвав у Голышева лопату, начинает с силой швырять глину.

Дрожь Сержика начинает бить сильнее, точно он болен малярией. Поскуливая себе под нос, Голышев приходит наконец в движение и берётся за лопату.

— Хоть бы заболеть, хоть бы подохнуть, — бормочет он.

— На кого оставишь свою кралю? — интересуется Паша.

— Не твоё собачье дело! — восклицает Сержик, дёргая, как кролик, посиневшим носиком.

Но что удивительно: из ста курсантов никто даже не чихнул. Когда я выразил Юре удивление, он усмехнулся:

— А ты думаешь, на переднем крае свирепствует грипп или ангина? Ничуть не бывало! Хотя красноармейцы мёрзнут там в сто раз больше нашего. Организм, брат, приспосабливается.

* * *

Ночь. Я лежу на нарах в землянке и пытаюсь уснуть. Но сон не идёт, хотя голова тяжёлая. Рядом впритык один к другому, как карандаши в коробке, спят курсанты. Тускло горит лампочка, в углу потрескивает тлеющим торфом железная печка.

Нас разбили на боевые орудийные расчёты. В расчёте вместе с командиром семь человек. Я пятый номер — трубочный. Нашим первым орудием командует Витька Шибанов. На правах командира он захватил в землянке самое тёплое место — у печки. Рядом с ним спит Сержик — первый номер. Я же сплю у самого входа как предпоследний номер расчёта.

Последние дни часто объявляют положение «номер один». Это когда вражеская авиация вторгается в зону действия ПВО Горького. Несколько раз по ночам мы открывали стрельбу заградительным огнём. Сегодня тоже объявили тревогу, но огня не вели. Два часа мы мёрзли возле орудия.

После отбоя я, войдя в землянку, скинул сапоги, но портянки вытянуть не мог: они примёрзли к стелькам. Валенок на батарее мало, их дают тем, кто стоит на посту.

Хлопает дверь, ледяной пар отдувает плащ-палатку, что висит у входа. Это пришёл будить себе смену шестой номер. Ого, значит прошло полтора часа с момента отбоя. Сменять шестого номера должен Голышев.

Я не могу сдержать улыбки, представляя, что сейчас произойдёт. Будить Сержика на пост — одно мученье. Он долго не просыпается, а когда наконец его растрясёшь, садится на топчан и, уставившись на тебя круглыми глазами, как у мыши, командует: «Идите на пост!» «Но ведь твоя очередь дежурить!» — напоминает курсант. «Прекратите разговоры! Идите на пост!»

Дежурный будит Витьку, требует вмешательства. Но Витька обычно распоряжается поднять следующего по порядку — Кожухова.

Ребята втихомолку возмущаются поведением Сержика, считая его закоренелым эгоистом. Что из того, что он младший командир! Невелика птица, мог бы и подежурить у орудия.

Забавный этот Сержик. Недавно ему исполнилось девятнадцать. День рождения совпал с дежурством по столовой. Наша батарея питается в заводской столовой, и отделения курсантов ежедневно ходят туда колоть дрова, чистить картошку, мыть посуду. Дежурить в столовой мечтают все. Ты на весь день избавлен от изучения уже изученной пушки и досыта наедаешься пшённой каши на хлопковом масле.

Вечером, когда мы домывали посуду на кухне, Сержик исчез. Решили, что смылся на батарею, не пожелав из-за сержантского звания возиться с грязными мисками.

Но скоро наше внимание привлекло странное шуршание, исходившее из-под прилавка в обеденном зале.

— Крысы! — уверенно заключил Кожухов и, вооружившись кочергой, отправился с ними воевать. Включив свет, он подкрался на цыпочках к прилавку и... загоготал как жеребец.

Мы подбежали и увидели Голышева, который сидел на корточках под прилавком, а перед ним на полке лежала распечатанная пачка довоенного печенья, очевидно, привезённая ещё осенью мамочкой, и горка сэкономленного от завтрака сахара. Сержик втихомолку угощался — отмечал день рождения. Уличённый в тайном пиршестве, он так покраснел, что с лица слетели все веснушки. Но быстро оправился и фальцетом крикнул Паше:

— Нечего глотку драть, остолоп! — затем затолкал в карман остатки лакомства, сердито грохнул дверью.

— Хоть бы печеньем угостил, — крикнул вдогонку Паша, любивший поесть.

...Шестой продолжал терпеливо трясти за ногу Голышева, приговаривая:

— Вставай! Вставай!

На стене захрипел репродуктор. «Ого! Уже шесть часов! Скоро подъём», — подумал я. Теорией мы занимались прямо в землянках, сидя на топчанах. Значит, если в землянках будет тепло, то мне целый день придётся бороться с дремотой.

Послышались звуки авиационного марша. В войну его передавали очень часто. Шестой номер окончательно разозлился:

— Вставай, чёрт!

И вдруг голос Левитана: «Приказ Верховного Главнокомандующего...» Я мигом слетел с топчана, повернул регулятор на полную мощность. Это была весть о разгроме немецких войск под Москвой.

— Подъём! Победа! — заорал я.

Кто-то поднял голову, кто-то сел, ничего не понимая. Шестой номер стоял с открытым ртом, хлопая глазами.

— Ура! — гаркнул я и в одной гимнастёрке, без шапки, выбежал на мороз. Скорей к Юре! Он спит в землянке четвёртого орудия.

Но Степанов не спал. На него я наткнулся на середине батареи. Он всё слышал и бежал ко мне.

— Яшка! Это здорово! Погнали гадов!

— Ура! — завопили мы дуэтом, задрав лица к морозному звёздному небу.

Глава 11

Нигде так молниеносно не теряется авторитет, как в армии. Совершил проступок, и вот уже старшина норовит тебя ткнуть на самую грязную работу, замполит смотрит как на паршивую овцу, товарищи сторонятся...

...За окном казармы солнечный майский день. Окна растворены. Батареи на занятиях. От старого состава нашей батареи осталась одна треть. В апреле прошли экзамены, а после Первомая начали выпускать лейтенантов. Лейтенантом стал Кожухов. Нацепил «кубари» и Сержик. Неделю назад покинул училище и Витька. Вместе с другими ребятами его направили в Москву на формирование. Нет и Юры Степанова.

А батарея наполнилась новобранцами. Ими командует новый старшина, упорно состругивая с парней гражданские привычки.

Янко тоже не сегодня-завтра уедет. У старшин-приятелей интендантского отдела он разжился хромовыми сапогами, каких не имеют и наши командиры взводов, раздобыл портупею

с кобурой под будущее личное оружие. Ходит Янко-лейтенант по казарме, поскрипывает новой кожей ремней и безразличным взглядом скользит по беспорядкам.

А меня отчисляют как недисциплинированного в звании сержанта. Потому-то на меня никто не обращает внимания. Я — отверженный. Предоставлен сам себе. Слоняюсь по пустой казарме, бреду в училищную библиотеку, чтобы забыться за книгой. Но из этой затеи у меня ничего не получается. На душе скверно, я мысленно ещё раз возвращаюсь к случаю, который произошёл со мной, пытаюсь задним числом определить тот миг, когда можно было повернуть ход событий по другому руслу. Но это так, для успокоения. Это я прекрасно понимаю. После драки кулаками не машут.

Итак, в марте нас на огневой позиции сменила другая батарея. Опять по утрам началась физзарядка, от которой мы были избавлены всю зиму, строевая подготовка, классные занятия, патрулирования по городу.

Однажды, когда у нас закончилась самоподготовка и курсанты занимались пришиванием подворотничков, писанием писем или чтением газет, ко мне на койку сел Юра Степанов. Он был бледен, глаза растерянно моргали.

— Яша, — глухим голосом произнёс он. — У нас в батарее ЧП: пропала винтовка Кожухова.

— Как так?

— Да так! Сейчас стал сдавать дежурство этому новенькому сержанту, что к нам перевели из другой батареи. Мы, старые помкомвзводы, дураки, никогда не пересчитывали оружие. Ну куда оно денется? Расписывались только в тетрадке: сдал-принял. А этот новенький стал считать всё. И одной винтовки

не хватило. Проверили по спискам номера. Оказалось, что нет винтовки Кожухова. Спрашиваю его: где? Отвечает: ничего не знаю. Вчера, мол, её чистил, поставил в пирамиду. Ты видел, он чистил вчера винтовку?

— Нет, я не заметил. Может, и чистил.

К нам подошёл новенький сержант из третьего взвода, спросил:

— Ну что ж, пойдём на доклад к комбату?

У Юры передёрнулось лицо. Но он взял себя в руки, закусил губу и, резко встав, оправил под ремнём гимнастёрку:

— Идём!

Я представил себе, что сейчас творится у комбата в кабинете. Наверно, комбат мечется перед вытянувшимися сержантами, хватается за голову. Послал за командирами взводов. Ведь скандал на весь округ: потеряли винтовку! В военное время!

Дневальный объявил отбой. Юрина койка пустовала. А я всё лежал и думал, как могла пропасть винтовка? Пирамиды с оружием стоят у нас в отдельной комнате. Она, правда, не запирается. Но против неё день и ночь торчит дневальный. Рядом хозяйственный склад старшины, кабинет комбата, комната, где живут командиры взводов.

Как только мы стали курсантами, за каждым из нас закрепили или винтовку, или револьвер. Осенью, когда готовилось наступление под Москвой, часть оружия из училища забрали. Поэтому винтовки были не у всех. Те, кто их не имел, отправлялся в наряд, брал оружие под расписку у дежурного по батарее.

Три недели назад два взвода, в том числе и наш, дежурили. Одних назначили патрулировать по улицам, других нести караульную службу по училищу. Кожухова, Голышева и меня

послали в наряд на аэродром. Витька был разводящим. Все мы, кроме Витьки, пошли со своими винтовками. У Шибанова на поясе болтался наган. Вечером с аэродрома возвращались трамваем.

Стоп! Тут я вспомнил одну деталь. Я сел на кровать, меня бросило в жар. Кожухов забыл свою винтовку в трамвае! Это точно!

Значит, так... В буфете столовой лётчиков продавали торты по комиссионной цене. Витька, Кожухов и Сержик купили вскладчину торт и решили заехать с ним пить чай к Марусе — Пашкиной воздыхательнице. Ребята предлагали вступить в пай и мне, но я все свои курсантские деньги отослал домой. Коробку с тортом нёс Паша. Ему приходилось одной рукой держать хрупкую коробку, а второй придерживать ремень винтовки. В трамвае была теснота, сапоги скользили по обледенелому полу. Кожухов сдёрнул с плеча винтовку, протянул Голышеву:

— Подержи до остановки.

Сержик буркнул:

— Поставь в угол. Слезать будем — заберу.

Здесь меня толпа оттёрла от ребят. И я ещё подумал, что оба — и Витька, и Сержик — корчат из себя каких-то господ. Подумаешь, младшие сержанты! Ничего бы и с Витькой не случилось, если бы он подержал коробку с тортом или винтовку. Ведь у него обе руки свободные.

Вскоре я слез с трамвая, а ребята поехали дальше, к Марусе.

Много лет спустя я узнал следующее. Все трое благополучно добрались до квартиры официантки. Маруся встретила их с восторгом.

— Ой, мальчики! Проходите, проходите!

Это была пышногрудая соломенная вдовушка, лет двадцати пяти. Витька с Сержиком принялись крутить патефон, а Паша отправился с Марусей на кухню кипятить чай.

После чаепития, распростившись с официанткой, ребята начали спускаться вниз. Паша, довольный свиданием с зазнобой своего сердца, насвистывал танго. Вдруг свист прекратился:

— А где м-м-оя винтовка?

У Сержика отвалилась нижняя челюсть, но он тут же отчеканил:

— Я по уставу не имею права брать в руки твоё оружие, а ты мне — отдавать своё. Ясно?

— Да я тебя просил как человека! — заорал Кожухов на всю лестницу. Они подняли перебранку, на площадках захлопали двери любопытных жильцов. Первым оценил обстановку Витька.

— Прекратить! — прикрикнул он на приятелей и увлёк их на улицу.

— Ой, что теперь будет! Ведь под трибунал попаду! — скулил Паша. Голышев помалкивал, независимо шмыгая остреньким носиком. Уже совсем стемнело, сыпалась снежная крупа. В подъездах домов светились синие лампочки. Инициативу розыска винтовки взял в свои руки Шибанов.

— Остается одно: ехать в трамвайный парк. Трамваи туда начнут прибывать к 12 часам ночи. Пошли!

У ворот парка Витька скомандовал:

— Я буду останавливать трамваи маршрута, на котором мы ехали, а вы быстренько осматривайте вагоны. Обязательно заглядывайте и к вожатой. Мы патруль и кого-то ищем. Кого — объяснять не следует.

Сержик недовольно хмыкнул:

— Рациональнее идти к диспетчеру, объяснить. Он созовёт кондукторов и спросит...

— А если винтовка не найдётся? — прервал его Витька. — Она, кстати, по твоей вине потерялась.

Голышев посерел.

— Не понимаю, какая разница...

— А вот такая! О пропаже винтовки мы будем знать только трое, ясно? Впрочем, если у вас есть лучший вариант поисков — предлагайте!

Ни Паша, ни Сержик ничего предложить не могли

— Наш маршрут! — крикнул Витька и встал на пути медленно ползущего вагона с прицепом. — Начинай осмотр! Быстро!

Винтовку не нашли. Но возникло новое препятствие: как пройти Кожухову через проходную училища без винтовки. Дежурные, несомненно, подумают, что Паша возвращается из увольнительной. Потребуют бумажку, а её нет. «Почему?» «Был в наряде». «А где оружие?»

— Беда мне с вами, — вздохнул Шибанов, снимая с пояса наган и протягивая его Голышеву. — Нацепляй на ремень, а винтовку отдай Кожухову. Шагайте к проходной!

— А ты как?

— Не ваша забота. Есть тут у меня на примете знакомая лазейка в заборе...

Прошла неделя, вторая...

Паша с Сержиком повеселели. Дежурные по батарее, функции которых выполняли помкомвзводы, по вечерам аккуратно докладывали комбату, что «происшествий никаких не произошло».

В конце третьей недели, в воскресенье, Витька взял увольнительную в город. Вызвав Голышева в уголок между коек, заговорщицки подмигнул:

— Могу буханку белого хлеба добыть. Желаешь?

Сержик затрепетал от вожделения. По две ложки каши в завтрак и ужин, баланда из разварившихся ржаных клёцек в обед явно не устраивали желудки девятнадцатилетних парней. Голышев полез за деньгами, Витька насмешливо фыркнул:

— За буханку тебе придётся отвалить курсантскую зарплату за год. А вот это вещь! — и он шлёпнул ладонью по Голышевской полевой сумке. Сержик хотел возмутиться, но под пристальным Витькиным взглядом всё понял и покорно отцепил сумку.

А после отбоя под одеялом Голышев уминал полбуханки белого (вторую половину буханки Шибанов сулился принести дня через три) и терялся в догадках, где Витька добыл хлеб, ибо полевая сумка цела и, как видно, в товарообороте не участвовала: она перешла в собственность Шибанова.

Свет на этот вопрос мог бы пролить Паша, так как он в тот день тоже отпросился в увольнительную. Но когда заявился к Марусе, та только слегка приоткрыла входную дверь и, запахивая полной ручкой расходившиеся на груди края халата, объявила, что к ней из деревни приехали мама и сестра, что у неё болит голова, что вообще дружбу пора прекратить, ибо Паше 18 лет, а ей все-таки 25. Как ни была узка щель между дверью и косяком, глазастый Паша всё же успел разглядеть на вешалке знакомую шинель с треугольничком в петлицах. И всё понял, но благоразумно помалкивал. Всё это, как уже говорил, я узнал через много-много лет. А тут спешно оделся и, споткнувшись в темноте о сапоги и тумбочки, выбежал в коридор.

Как и предполагал, у комбата был полон кабинет людей. Здесь находились командиры взводов, помкомвзводы, замполит и Янко. Комбат сидел за столом и с треском листал журнал приёмки и сдачи дежурств.

— Какая разболтанность! Какая безответственность! — кричал он. — И это в военное время!

— Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться!

Комбат раздражённо уставился на меня.

— Что у вас?

— Винтовку, вероятно, курсант Кожухов оставил в трамвае!

В комнате стало так тихо, что было слышно, как за дверью о чём-то вполголоса переговариваются дневальные.

— Что значит «вероятно»? Почему вы только сейчас об этом докладываете? — загремел комбат.

Все внимательно выслушали мой рассказ. Когда я закончил, старший лейтенант недовольно поморщился.

— Это предположения... А впрочем... Старшина Янко, поднимите младших сержантов Шибанова, Голышева и курсанта Кожухова.

Комбат был требовательным и знающим командиром, но плохим следователем. Он заставил меня в присутствии троицы повторить рассказ.

Я говорил и поглядывал на Сержика, Пашу и Витьку. Они стояли плечом к плечу, с мятыми после сна лицами. Голышев, устремив отрешённый взгляд куда-то вдаль, стремился унять дрожь своих девичьих губ. Паша, как баран, упёрся взглядом в пол, толстые щёки его уныло желтели. Только Витька не отводил от меня глаз. Насмешливо прищурившись, он снисходительно усмехался.

— Разрешите объяснить, товарищ старший лейтенант, — спокойно произнёс Шибанов, едва я кончил, и щёлкнул каблуками.

— Курсант Софонов, мягко говоря, фантазирует. Да, действительно, мы купили торт, действительно Кожухов поставил винтовку в угол трамвая, но когда слезли, младший сержант Голышев её взял. Он может это подтвердить. О том, что все винтовки были в пирамидах в ночь нашего прихода из наряда, подтверждает запись передачи в журнале дежурств.

— Кожухов, вы вчера чистили винтовку? — это лейтенант Погорелов.

— Чистил! — словно из бочки бухнул Паша, не поднимая глаз.

Всё говорило о том, что он врёт. И это поняли окружающие, так как слишком пристально смотрели на Кожухова.

— Всё ясно! — подытожил комбат и приказал: — Марш спать! Старшине и командирам взводов задержаться!

Итак, я остался в дураках. Юру перевели в другую батарею и разжаловали в курсанты. А Витька меня возненавидел.

Начались экзамены. Я на «хорошо» сдал политподготовку, тактику. Следующий — стрельба из личного оружия. Погорелов поручил Шибанову подготовить мишени.

Витька влетел в казарму и крикнул:

— Курсант Софонов, ко мне!

Я только что получил письмо от мамы. Она сообщала разные домашние новости, писала, что похварывает, а в самом конце: «Чуть не забыла — твой учитель Сергей Иванович умер. Тебе известно, где он находился. Из тех краёв вернулся товарищ, который его собственноручно и похоронил. Но сейчас

столько смертей, столько горя, что смерть Сергея Ивановича никого, кроме жены, не взволновала. Слышал бы, что делается в домах после прихода почтальона».

И вот я стою перед Витькой по всем правилам устава — руки по швам. Но в голове у меня строки из маминого письма.

— Повторите приказание! — требует Шибанов. О чём это он? Ах да, велит изготовить из фанеры мишени. Где только фанеру раздобыть? Придётся опять проявлять воинскую находчивость — через забор лезть к военторговскому магазину. Там свалены ящики из-под папирос... Закопали нашего Сергея Ивановича на Колыме. Враг народа!

— Повторите приказание! — у Витьки от злости раздуваются ноздри волнистого носа, — Вы что, спите?

— Сергей Иванович умер, — говорю и в упор смотрю на Шибанова.

— Что вы бормочете, курсант Софонов? — визжит Витька на всю батарею. Я отлично вижу, что он слышал мои слова. — Повторите приказание!

Тут бы мне и повторить приказание, и всё потекло бы по иному руслу, всё было бы иначе. Но меня взбесило, что Витька никак не реагировал на слова о смерти литератора.

— Это ты наклеветал на Сергея Ивановича! — раздельно произнёс я, не отрывая взгляда от лица Шибанова. — По твоей вине он умер.

Ни один мускул не дрогнул на Витькиной смазливой физиономии. Он заорал в третий раз, чтобы я повторил приказание. Кричал нарочно на всю батарею, чтобы привлечь внимание начальства. И действительно, привлёк. Между коек уже замаячила хмурая фигура Янко, появился лейтенант Погорелов.

Мне вдруг стало совершенно ясно, что Шибанов действительно виновен в репрессиях литератора. А ведь пришёл тогда с честной рожей к Шумковым писать письмо Сталину. Лицемер! Что бы сделал на моём месте мой кумир Василий Соколов? Дал бы по морде!

— Какой же ты подлец! — выдохнул я и ахнул изо всей силы Витьку по щеке. Размахнулся ещё раз, но тут же отлетел в проход между коек. Вскочив, кажется, пытался тряхнуть Витьку головой в челюсть, но кто-то вцепился в меня, кто-то закручивал руки. Потом о чём-то допрашивали комбат и замполит. Я молчал.

— Пятнадцать суток ареста! — раздался резкий голос нашего комбата.

Минуло полмесяца. За время моей отсидки на «губе» закончились экзамены. И вот в ленинской комнате открылось комсомольское собрание, специально посвящённое разбору моего проступка. В ленкомнату, кроме комсомольцев батареи, пришли замполит и даже комиссар дивизиона. Они все трое сели в уголочке с видом посторонних людей. Меня попросили рассказать о причинах драки. Задолго до собрания я мысленно уже составил речь. Она, на мой взгляд, была убедительна, в ней фигурировал Сергей Иванович, Миша Шумков...

Меня слушали не больше минуты. Комсорг поднял руку, прося у председателя собрания слова, и сказал:

— Товарищ Софонов, то, что вы рассказываете, к делу не относится. Лучше объясните собранию, почему отказались выполнять приказание младшего сержанта Шибанова и ударили его?

Все веские слова вылетели из головы. От меня требовали объяснения того, чего я сам объяснить не мог. Моя ссылка на

то, что Шибанов не подсказал, где добыть фанеру для мишеней, прозвучала жалко и неубедительно, вызвав возмущённый ропот. В общем, я махнул рукой и сел.

Выступление Витьки прозвучало впечатляюще. Здорово всё-таки подвешен у человека язык. Недаром стремился быть дипломатом. Нет, Шибанов не клеймил меня со всей злобой оскорблённого. Он кое-где обрисовал меня даже в положительном свете. Он поведал, как дружил со мной со школьных лет и что вообще-то я парень неплохой, но высокой дисциплиной никогда не блистал, дружбу иногда предавал (это он про фотографии голых девчонок). А такой человек может предать и Родину. И здесь Шибанов бросил свой самый высокий козырь: он рассказал, как я покинул пост и бросил винтовку, спасая тонувшую девчонку. Он покаялся, что не доложил тогда про мой проступок во имя школьной дружбы.

Витькина речуга произвела противоречивое, но большое впечатление. Первый же выступающий в прениях курсант заявил, что Софонов совершил героический подвиг — спас человека, а училище до сих пор об этом не знает. Софонова надо наградить. Но следующий выступающий возразил, что я грубейшим образом нарушил устав караульной службы. И меня надо не наградить, а судить.

Страсти в ленинской комнате накалялись, разгорелся спор о долге и чувстве. Меня бросало то в жар, то в холод.

Наконец слово взял комиссар дивизиона. Черноволосый, невысокий, на его груди сияла медаль «XX лет РККА*». Свои речи он начинал тихим голосом, но под конец распалялся.

---

* РККА — Рабоче-крестьянская Красная армия.

— Слушал я сейчас ваши выступления и невольно вспомнил эпизод из книги Виктора Гюго «98-й год». Кто читал — помнит, как на корабле матрос слабо закрепил пушку и во время качки она начала разрушать всё вокруг. Этот матрос «усмирил» её. За смелость его тут же наградили, за халатность — расстреляли...

Голос комиссара зазвенел:

— Вы мальчишки! Но пора от этого мальчишества отрешаться! В Гражданскую войну парни в вашем возрасте эскадронами командовали, а Гайдар — даже полком. На полях нашей Родины идёт битва, каких не знала история, с самым кровавым врагом человечества — фашизмом. Враг этот коварный и жестокий. В Ленинграде гитлеровские стервятники не без помощи шпионов сожгли продовольственные склады, и в эту зиму в блокадном городе погибли от голода десятки тысяч людей! Где гарантия, что когда курсант Софонов, бросив свой пост и оружие, вытаскивал утопающую, какая-нибудь фашистская мразь не швырнула в склад с картофелем яд? Ведь весь личный состав училища мог погибнуть! Будущие командиры Красной армии! Только давность проступка — прошло полгода — спасает Софонова и Шибанова от наказания. Один виноват, что бросил пост, второй — что не доложил, руководствуясь приятельскими отношениями. Я вас понимаю: тяжело смотреть, как на твоих глазах, взывая о помощи, гибнет человек, тем более ребёнок, девочка! Долг сейчас на переднем плане.

Комиссар ещё говорил гневно и горячо о благодушии, о бдительности. У меня голова шла кругом. Я вдруг впервые понял, что могло бы произойти во время моей двухминутной отлучки с поста. На собрании предлагали меня за драку исключить из комсомола. Дали строгача. После собрания, чтобы

развеять паршивое настроение, пошёл в соседнюю батарею, к Юре. Оказалось, что он присутствовал тоже на нашем собрании. Просто я его не заметил. Бывший мой помкомвзвода, сидя на койке, пришивал пуговицу.

— Как бы ты поступил на моём месте? — спросил я его прямо, хотя предвидел ответ.

Степанов просто ответил:

— Конечно, не ушёл бы с поста. А эта погибшая девочка, может, всю жизнь снилась бы. Глаза её умоляющие не давали бы покоя.

...Где же теперь эта девчушка? На Урале? Вспоминает ли хоть, как её из ледяной реки выволок парень в военной гимнастёрке? Я даже не знаю, как девочку зовут. У неё хрупкая талия и большие, дремучие глаза. Когда она обвила меня за шею и прижалась, остренькие яблочки грудей кольнули меня. А губки холодные, но живые...

Перед отъездом из училища Юра зашёл попрощаться. Стройный, с широким офицерским ремнём на тонкой талии — отец, видимо, подарил, — Юра сразу как-то возмужал. Он долго тряс мою руку, утешал.

— Не сокрушайся! Ведь, собственно говоря, неважно, в каком звании воевать, главное — немцев выгнать с нашей земли. Я вот люблю военную службу. У нас это семейное. А для тебя, если думаешь стать инженером, звания значения не имеют. Ты горячий, несдержанный. И этим всё себе портишь. Никак не можешь принять закон армии: беспрекословное подчинение приказу, даже пусть явно несправедливому. Но без этого нет армии.

— Курсант Софонов!

Я вздрогнул от неожиданности. Сзади стоял наш новый старшина. Он велел собирать вещи. Я всё понял.

У училищной проходной выстроилась группа человек в двадцать. Все лодыри, самовольники, плохачи — отчисленные из училища. В их ряд пристроился и я. С юга, из-за домов, наползала синяя туча — надвигался дождь.

Подошёл офицер, сопровождающий нашу команду, приказал подравняться. Вышли за ворота. Я оглянулся в последний раз на корпуса. Начал накрапывать дождь. Лейтенант приказал петь. Кто-то затянул, но его не поддержали. Все мы, теперь уже бывшие курсанты, были из разных батарей, и песни у нас были разные. Лейтенант что-то недовольно буркнул, накинул на голову капюшон плаща и сердито скомандовал:

— Шире шаг!

Глава 12

Мы в Москве! На вокзале при входе в город усиленный патруль проверяет документы.

Очутившись на площади, мы, пока наше начальство куда-то отлучилось, расположились на решётках подвальных окон Курского вокзала. Припекало солнце.

Губастый парень Сашка Полетаев, выпущенный в звании сержанта, всю дорогу ворчал на своего сокурсника за то, что тот не пошёл с ним к начальнику училища просить об отмене приказа об отчислении. Сашка считал приказ несправедливым. Учился он на тройки, а выперли Сашку за систематические самовольные отлучки.

— Сержант — тоже неплохое звание, — заметил Толя Мизонов, очень худенький и бледный юноша, похожий на девушку.

— Сравнил! — Сашка презрительно фыркнул. — Одно дело, грязь вместе с солдатами в поле месить, а другое — в листоране сидеть!

Так и сказал: «В листоране сидеть».

— Тебя следовало бы из училища давно выгнать! — заявил Толя, и его девичьи карие глаза гневно сверкнули.

— Ишь ты! В ресторане сидеть! А кто за тебя воевать будет?

— Что ты взъелся, Толик?! — Полетаев брезгливо скривил толстую губу и с откровенным пренебрежением оглядел Толину фигурку.

Да, неказисто выглядел Толя, что и говорить. Он был из нашей батареи, только из другого взвода. Отчислили его за неуспеваемость. Воспитанный умной матерью и добрыми книгами, Толя был чересчур доверчив, деликатен и скромен. В батарее над ним частенько посмеивались. Начали нас в лагере обмундировать. Янко привёз груду сапог, свалил на траву: выбирай! Мы налетели как осы. А Толя стоит в сторонке, застенчиво так улыбается, ждёт, что останется. И остался ему один сапог кирзовый, а второй — кожаный. И оба разных размеров. На вечерней поверке несколько ребят обратилось к старшине с жалобой, что жмут сапоги. Янко поворчал, но приказал недовольным выйти из строя и шагать на вещевой склад для обмена сапог. А Мизонов постеснялся быть навязчивым, и жестоко страдал во время июльской жары — сапоги ему тёрли ноги.

У Толи брали взаймы деньги на махорку и «забывали» отдавать. А напоминать о долге Мизонов считал неудобным.

Весной нам делали профилактические уколы от какой-то инфекции. Толе стало плохо. Полураздетого, его уложили на кушетку в медчасти.

Военврач в ответ на недоуменный взгляд медсестры побарабанил пальцами по стеклу стола, бросив взгляд на Толины выпирающие рёбра и впалый, как у мертвеца, живот, заметил:

— Начальная стадия дистрофии — результат скудного питания.

— А почему у других нет?

— Всё от былых накоплений зависит, моя дорогая.

В одно из совместных дежурств на батарее Толя рассказал мне про пьяницу-отца, который частенько прокучивал всю зарплату, и семья неделями питалась капустой и картошкой.

И вот Мизонов, как и я, — штрафник. В вагоне мы спали рядом. Он рассказывал мне, что у него в последнее время стали наблюдаться какие-то странные провалы в памяти. Артиллерию — основной предмет — он на экзаменах завалил. А запутался на пустяках.

— Не поверишь! — горячо говорил он, широко раскрывая карие глаза. — Дома я на турнике подтягивался до 20 раз. А недавно на училищной спартакиаде попробовал — и, представь, ни одного раза! Что это такое со мной? И ничего не болит.

...Появился наш лейтенант, и мы двинулись по улицам Москвы в Чернышёвские* казармы. У продовольственных магазинов змеились очереди москвичей. Разгуливали с повязками на рукавах патрули.

Вскоре мы очутились перед массивными воротами. Нас впустили. Это был небольшой городок в большом городе. По бокам асфальтовой дороги уходили вдаль ряды кирпичных казарм.

---

* Названы по имени красноармейца Прокопия Чернышёва, который погиб при пожаре в этих казармах, но не покинул свой пост.

И перед домами, и в открытых окнах зданий, — везде виднелись военные. Представителей каких только родов войск здесь не было — и пехота, и танкисты, и связисты, и артиллеристы!

Возле одной из казарм мы остановились.

— Тут, верно, зенитчики живут, — предположил Толя.

И словно в подтверждение его слов я увидел в окне второго этажа лицо Паши Кожухова. Лейтенанта. Он с рассеянно-безразличным взглядом окинул наш строй, позевнул и исчез. «Хоть бы не вышел, — мечтал я, вдруг почувствовав унизительность своего положения. — А впрочем, всё равно. Пусть выходит. Тут, наверно, и Шибанов. Ждут назначения».

* * *

Если существует судьба, то у меня она самая коварная и ехидная. Ну кто бы мог мне полтора года назад предсказать, что из училища я по милости Витьки Шибанова выйду в звании сержанта, стану командовать орудийным расчётом. А батареей, в состав которой входит орудие, будет командовать Витька. Правда, Витька не совсем комбат. Он помощник командира батареи. Но это положения не меняет.

О том, что буду находиться под его командованием, я узнал в Чернышёвских казармах на следующее утро после формирования. Всю короткую майскую ночь нас считали, сортировали, одевали, обували и снова считали. Потом построили.

Знакомиться с батареей вышел комбат — белокурый и голубоглазый старший лейтенант, комиссар и три лейтенанта — помкомбат и командиры взводов. На Витьке красовались тёмно-серые бриджи, блистала Сержикова полевая сумка и пистолет «ТТ» в новенькой кобуре. Успел уже нацепить.

Дойдя до ряда, где мы стояли с Толей Мизоновым, Витька покровительственно ухмыльнулся:

— Ну как, Софонов, повоюем?

— Повоюем, товарищ лейтенант, — деревянным голосом ответил я, глядя в пространство и почти физически ощущая, что на мне обмотки, неуклюжие ботинки и хлопчатобумажная гимнастёрка.

— Знакомый? — полюбопытствовал комбат.

— Однокашник, — ответил Витька. — Земляки.

Нашу отдельную зенитную батарею направили на охрану железнодорожного моста через Оку, в районе станции Алексеевки. Прошлой осенью в Алексеевке хозяйничали немцы. Отступая зимой, они сожгли станцию и взорвали мост. Одна из ферм рухнула в реку. Но к нашему приезду стройбат успел мост восстановить.

— За сохранность моста сейчас отвечаем мы, — объявил нам комбат, когда батарея была приведена в боевую готовность.

— Командирам расчётов срочно заняться обучением номеров их обязанностям.

И учёба началась. Целый день слышались команды, лязг затворов, стрёкот электрических стрелок принимаюших. Батарея была сформирована из красноармейцев, уже побывавших в боях, окружениях и госпиталях. Вечером перед отбоем или во время дежурств солдаты предавались воспоминаниям, и перед нами с Толей раскрывались страшные картины народной трагедии, о которых очень скупо писали газеты и почти не рассказывало радио.

...Знойный июльский день. В безоблачное мглистое небо уставилось зенитное орудие, к его стволу привязана ветка

берёзы. В её высыхающих листьях жужжат чем-то привлечённые мухи. На снарядных ящиках чинно сидят солдаты моего орудрасчёта. Я рисую на фанерке карточку стрельбы по штурмовой авиации и слушаю, как Толя объясняет устройство накатника. Мизонов у меня в качестве первого номера. Мы с ним крепко сдружились, как, впрочем, сдружился и весь расчёт.

К нашему с Толей удивлению, солдаты довольно легко освоили все премудрости работы отдельных частей пушки, освоили правила стрельбы. А так как изучать было больше нечего, то занимались бесконечным повторением пройденного.

За месяц открывали огонь раз пять-шесть, не больше, по пролетающим разведчикам. Обычно это были «Хенкели». Они проходили на большой высоте. И когда вокруг них начинали плясать ваточные шары разрывов, круто разворачивались и растворялись в синеве. Толя негодовал:

— Разве это война! Живём как на даче. Тургеневская берёзовая роща, аксаковская тихая речка! Тьфу! Подам рапорт, чтобы направили на передовой край!

На армейских харчах Толя поправился, раздался в плечах. Слушая его сетования, солдаты иронически ухмылялись. Все они познали военное лихо. Ох, мало в нём романтики.

В своих мужиков-солдат расчёта я просто влюблён. Что ни человек — то самобытный характер.

Вот Миша Баранов, второй номер, заряжающий. Должен обладать солидной силой, так как снаряд весит 12 килограммов. Миша высок и плечист, и этим очень гордится. У старшины на складе он выбрал самую длинную шинель и ботинки 45-го размера, хотя, по правде сказать, ему подошёл бы и 42-й размер.

Миша с ленцой. Когда таскали на кухню из-под горы двухметровые дрова, Баранов брал самую тоненькую дровину — боялся надорваться, и невозмутимо нёс её под шумные насмешки всей батареи.

Миша знает десятки побасёнок, присказок. Занимаясь каким-нибудь делом, он любит напевать. Песни у него преимущественно трогательно-блатного характера, поёт он их с чувством:

Шумел камыш, деревья гнулись,
А ночка тёмная была.
Одна возлюбленная пара
Всю ночь гуляла до утра.

— Нелогично, — выступает в роли критика песни Толя. — Не будет влюблённая пара гулять в ураганную ночь. Ведь деревья гнутся только при буре или урагане.

— Из песни слова не выкинешь, — добродушно отвечает Миша. Однако затягивает другую песню:

Одна нога у ней была короче,
Другая деревянная была...
Я долго-долго плакал среди ночи:
Зачем меня ты, мама, родила?

— Опять абсурд! — Замечает Толя. — Короче чего была нога? Ведь второй-то ноги совсем нет!

— Короче деревянной, — отвечает Баранов, пытаясь спасти престиж песни.

— Так не бывает, — возражает Мизонов. — У инвалида протез, как правило, короче настоящей ноги, иначе он ходить не сможет.

— Да это для смеху так поётся! — защищается Миша.

— Глупая песня! — заключает Толя. — Сочинил её, вероятно, уголовник, сидя за решёткой. А ведь у русского народа есть изумительные песни.

Третий номер — Лаврентий Ляпунов. Он лет на пять старше нас с Толей. Был беспризорником, карманником. Потом его определили в детдом, над которым шефствовала воинская часть. Шестнадцати лет Лаврентий попал в музыкальный взвод. Войну Ляпунов встретил на границе. Отступал. Попадал в окружение. За год с небольшим он умудрился побывать и в пехоте, и в кавалерии, и даже в авиации. Сейчас вот угодил в зенитную артиллерию.

Колоритнейшей личностью был Серёга Кротов, четвёртый номер. Слесарь-сборщик из Ярославля, он раньше всех освоил устройство и действия частей орудия. Умел плотничать, столярничать.

Все приказы Кротов исполнял добросовестно, прилежно чистил свой участок пушки и винтовку, но делал это так, как делают нелюбимое дело. Однако Серёга буквально преображался, если ему поручали или настлать пол в кухне, или обить фанерой комсоставскую землянку, или соорудить эстраду для гастролей бригады артистов. В нём мгновенно просыпался творец и умелец. Покашливая от махорочного дыма, он любовно точил топор — единственный плотницкий инструмент на батарее, и торопливо уходил, весь поглощённый мыслями о предстоящей работе.

Я никогда не предполагал, что обычным топором можно вырезать из доски узоры. Я увидел это. Кротов работал артистически, легко и с таким вкусом, что возникало необоримое желание самому взяться за топор.

Однажды ранним туманным утром, ещё до подъёма, я проснулся и вышел к орудию. Дежурил Кротов. Подняв воротник шинели и попыхивая цигаркой, он над чем-то хлопотал. Я подошёл поближе и похолодел: на брезенте лежала разобранная по косточкам полуавтоматика.

— Вы с ума сошли, Кротов! Зачем разобрали полуавтоматику? А если стрелять?

— Соберу ведь, — спокойно ответил Серёга. — А стрелять не придётся — какой дурак полетит в такой туман! Разобрал потому, чтобы уяснить, как действуют разные там защёлки, о которых вы рассказывали с сержантом Мизоновым. Ничего сложного!

— Немедленно соберите полуавтоматику! Приказываю!

Кротов удивлённо пожал плечами, повторил приказание и взялся за отвёртку. Через пять минут всё было на месте. У меня не хватило духу влепить Серёге наряд. А он ещё ворчал:

— Эка невидаль! Полуавтоматика! Да мне станки доводилось собирать на заводе. В сто раз сложнее этой чепуховины.

Трубочными были Егоров и Плясунов. Плясунов до войны работал грузчиком, любил выпить и поволочиться за женщинами. На досуге он часто вспоминал былое и пускался в такие подробности, что у нас с Толей краснели уши. Это обстоятельство не ускользнуло от внимания Плясунова. Ехидно ухмыляясь, он замечал:

— А у нас сержанты-то невинные, особенно Мизоныч. Мизоныч, ты знаешь, как дети получаются? В школе вас этому не учили? Погоди, комбат вон сказывал, скоро к нам на батарею девчат пришлют. Они тебя обучат.

Егоров, в противоположность Плясунову, тих и скромен, но себе на уме. Он аккуратен до фанатизма. Обмотки, гимнастёрка, пилотка — всё у него тщательно разглажено. Ложку и котелок он моет до солнечного блеска, и страшно негодует, если их кто-то берёт. На гражданке Егоров заведовал магазином.

...Толя кончил объяснять и поинтересовался, есть ли вопросы. Вопросов не было. Плясунов сладко позевнул и заметил:

— Вздремнуть бы полчасика до обеда. Как, товарищ сержант?

Это адресовалось мне.

— Вздремнём после войны, — ответил я. — Мизонов, сбегай к комиссару — может, свежие газеты принесли.

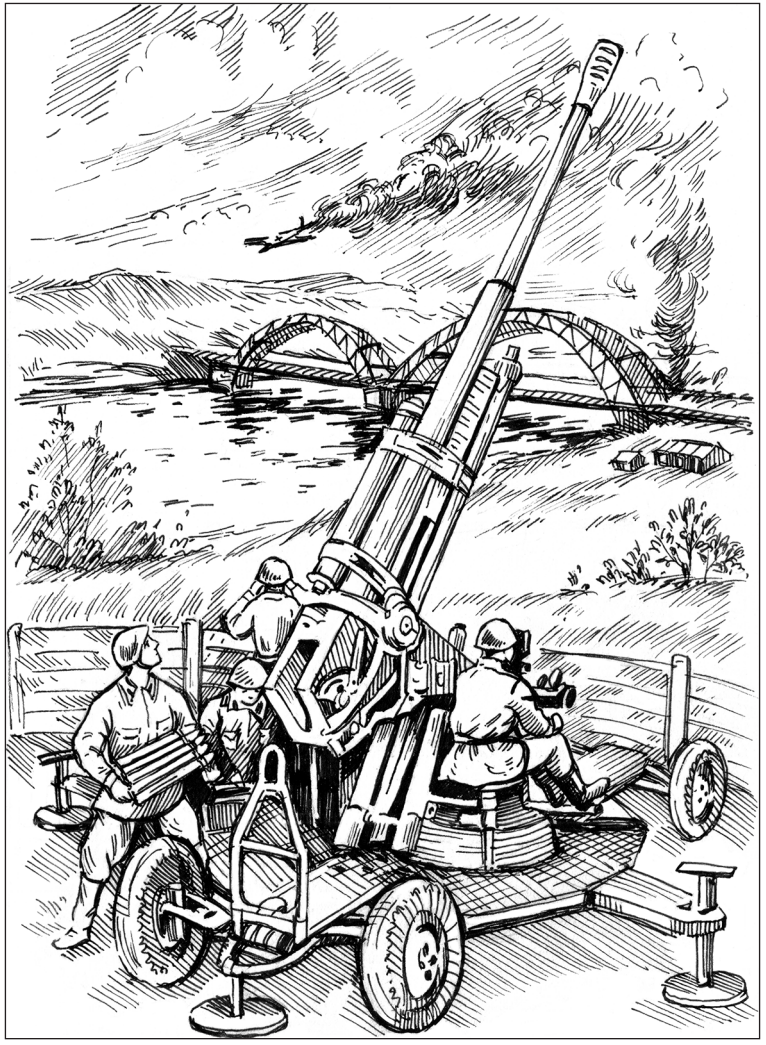
Сообщения Совинформбюро все слушают очень внимательно. На нашем участке фронта затишье. На юге — бои. Фашисты рвутся на Кавказ и к Сталинграду.

Торопливый звон в вагонный буфер срывает нас со снарядных ящиков. Тревога! Вмиг сброшена ветка берёзы со ствола орудия, по батарее промчался командир огневого взвода лейтенант Нистратов, или, как его любовно зовут солдаты за глаза, — Нистратыч. На орудийных принимающих застрекотали красные электрические стрелки. С дальномера назвали высоту цели.

— Есть совмещение! — доложили из ровика приборного отделения. Рявкнул ревун. Миша Баранов дёрнул за спуск.

Звук выстрела больно бьёт по ушам. Тугие волны воздуха подбрасывают крышки на снарядных ящиках, поднимают тучи пыли и сухие листья.

Высоко-высоко в сизом небе плывёт белый крестик — «Хенкель-111». Два клубка разрывов расцветают над правым



крылом, бомбардировщик делает вираж и со снижением уходит на запад.

После стрельбы — хлопот полон рот: тут и чистка орудийного ствола, и сдача на склад стреляных гильз, и приведение в порядок всего орудия.

— А правда, товарищ сержант, — спрашивает меня Лаврентий, — что стоимость одного снаряда равна стоимости пары хромовых сапог?

— Правда, — отвечаю, так как об этом слышал в училище от Коржа.

— Чёрт побери! — изумляется Ляпунов, пересчитав пустые гильзы. — Выходит, мы сейчас в воздух выпустили семь пар сапог. Это как раз на наш расчёт. А самолёта не сбили.

Да, сбить самолёт не так просто, особенно из орудия образца 1931 года и с помощью ПУАЗО-2*. Но мы не теряли надежды.

* * *

И всё-таки мы сбили фашистского стервятника. Вернее не сбили, а подбили. Случилось это утром, после завтрака. Один из трёх наших наблюдательных пунктов, что находился в семи километрах от батареи, сообщил, что с востока на бреющем полёте в сторону моста идёт группа «Юнкерсов». Кроме нашей батареи, мост охраняли ещё батареи среднего калибра, МЗА** и пулемётные установки.

Было очевидно, что самолёты бомбили какой-то объект и сейчас возвращаются. С бомбовой нагрузкой они летели бы на

---

* ПУАЗО —прибор управления артиллерийским зенитным огнём.

** МЗА — малокалиберная зенитная артиллерия.

большой высоте — так удобнее для пикирования. Всё это торопливо разъяснял Серёга Кротов, жуя сухарь и крутя привод угла возвышения. Кротов служил на постах ВНОС* и знал все тонкости и повадки фашистских самолётов.

Минуту спустя после объявления воздушной тревоги послышался нарастающий гул. «Будем стрелять как по штурмовой авиации», — сообразил я, и тотчас с КП** послышался Витькин фальцет:

— По штурмовой! Взрыватель тридцать восемь!

Лязг затвора, завывающий рёв моторов, грохот наших орудий, отрывистый лай малокалиберных пушек у самого моста, треск пулемётных очередей, — все звуки слились в один гул.

— Взрыватель восемь! Огонь!

У «Юнкерсов-87» шасси неубирающееся, с обтекателями, издали они похожи на сжатые в комок куриные лапы. Крылья и хвостовое оперение угловатые. На киле — свастика.

Прямо над нашим орудием просвистел один из стервятников. Мелькнули лимонно-жёлтые крылья с огромными чёрными крестами, сверкнул на солнце фонарь кабины с головами лётчиков. Батарея на несколько секунд прекратила огонь — самолёты попали в мёртвое пространство.

Пока наводчики бешено крутили маховики, разворачивая орудия, «Юнкерсы» — уже на горизонте. Вслед им успеваем сделать ещё три залпа. Может, эти выстрелы и оказались наиболее результативными. Не знаю... Но только когда мои мужики приступили к чистке орудия, около КП возникла суматоха.

---

* Пост воздушного наблюдения, оповещения и связи.

** Командный пункт.

Из землянки выбежали Нистратов и Шибанов. Витька скомандовал:

— Командирам орудий — третьих номеров с винтовками сюда!

Лаврентий, бросив промасленные тряпки, помчался за винтовкой, а всеведущий Плясунов, вернувшись с Егоровым со склада боепитания, куда они относили ящики с гильзами, с радостным удивлением сообщил:

— Ребята, подбили «Юнкерс»! Вон за тем лесом сел! Там колхозники сено как раз сгребали. Он около копны и сел. Лётчики давай из пистолетов по людям палить. Бабы за берёзы попрятались, но из вида фашистов не выпустили. Мальчишку на КП дивизиона направили. Сейчас наши дадут им прикурить!

А час спустя мы все увидели, как возле командирской землянки остановилась автомашина, из кузова посыпались бойцы и медленно спрыгнули двое в серых свитерах. Немцы!

Около пленных металась приземистая фигурка Лаврентия. Лаврентий что-то уж подозрительно суетился, жестикулировал. Позже, вечером, мне стала понятна причина такой активности. Отозвав меня в сторону, Ляпунов подмигнул своим детским голубым глазом и вытащил из кармана роскошную зажигалку:

— Желаете, товарищ сержант? Подарю!

— На что мне? Ведь я не курю. Да и ты не куришь. Откуда она у тебя?

— Трофейная! — важно объявил Лаврентий и извлёк бумажник красной кожи, набитый открытками с изображением сплетённых голых тел красавиц и красавцев.

— Ловко это ты!— изумился я.

Лаврентий самодовольно ухмыльнулся улыбкой мастера своего дела и окончательно поразил меня, вытащив «вальтер» с запасными обоймами.

Я знал, что этот пистолет искали все наши бойцы в траве на покосе, где сел подбитый «Юнкерс», спрашивали у пленных, но те только пожимали плечами, хотя не отрицали, что пистолет у них был. Значит, вот он куда «исчез»!

— Иди-ка сдай оружие помкомбату! — посоветовал я.

— Зачем, товарищ сержант? — удивился Ляпунов. — Мы рано утром, когда начальство спит, постреляем из него вон под обрывом.

Соблазн был велик. Два утра у реки мы с Лаврентием решетили консервную банку, а затем патроны кончились, и «вальтер» полетел в Оку.

В тот же день, когда сбили «Юнкерс», я впервые увидел фашиста.

Меня окликнул комиссар — так все звали по старой привычке заместителя командира по политчасти. Он стоял возле дальномерного ровика и курил. Всегда бодрый, жизнерадостный, комиссар на этот раз был необычайно задумчивым. Чёрные армянские глаза и широкое лицо носили печать сосредоточенности.

— Сержант Софонов, — сказал комиссар, — сходи-ка, дорогой, в землянку, где сейчас эти... И посмотри на них. Особенно на пилота, на морду и глаза его! И пусть весь твой расчёт посмотрит. Обязательно пусть посмотрит! Это лучше всякой политбеседы. Ой какой фашист! Махровый!

Немецкие лётчики в своих толстых свитерах цвета пыли сидели за столом — ожидалось прибытие начальника особого отдела. Возле пленных сидел наш автоматчик, а у входа толпились бойцы, глазели и обменивались мнениями.

Я ожидал увидеть дегенеративный покатый лоб, срезанную под тупым углом обезьянью челюсть, трусливо бегающие глаза убийц. Одним словом, тех существ, каких рисуют в газетах Борис Ефимов и Кукрыниксы.

Ничего этого не было. Стрелок-радист с рыжеватым бобриком на голове, с поросячьими ресницами вокруг бледно-серых навыкате глаз, с опаской косился на бойцов и что-то вполголоса говорил своему командиру. Тот не отвечал, покуривал.

В пилоте я тоже не нашёл ничего примечательного. Но, взглянув на его голубые глаза, невольно насторожился. В глазах немца совсем не было страха пленника. В них было холодное любопытство к нам. Такое любопытство бывает у посетителей зоопарка. Он не бледнел, не краснел, не прятал взгляда. Он наблюдал за нами. И по-видимому, своё настоящее положение считал игрой судьбы, досадным недоразумением, которое иногда случается с победителями. Мы для него — низшие существа, наподобие тараканов или мышей. Аэродром, с которого он взлетел, находится в глубине нашей территории. Он пьёт нашу воду, дышит нашим воздухом. Сейчас его, вероятно, удивляет, как такие пигмеи в обмотках и хлопчатобумажных гимнастёрках умудрились сбить самолёт.

Заносчиво-надменная мина пилота не ускользнула от внимания зенитчиков. Кто-то заковыристо выругался, кто-то посетовал, что нельзя гитлеровцу съездить по «кумполу».

На ступеньках послышались торопливые шаги и частое дыхание. В землянку спустился один из пигмеев, наш батарейный повар Каримыч. Каримычу уже за пятьдесят. Из довоенных

политбесед он твёрдо усвоил одно: война нужна буржуям, а простым людям — нет. Но воюют эти простые люди потому, что фюрер вдолбил им в головы, будто советские трудящиеся их враги.

Гитлеровскую человеконенавистническую теорию у лётчиков должны были, по мысли Каримыча, поколебать два чуть неполных котелка макарон с мясными консервами. Повар спешил накормить пленных. Он считал, что путь к добрым чувствам короче всего через желудок. Немцы поедят макарон и поймут, что русские никакие им не враги, а друзья. А враги — Гитлер и иже с ним.

Весь сияя от переполнявших его высоких чувств, Каримыч торжественно поставил перед немцами дымящиеся котелки, положил комсоставские никелированные ложки и по солидному ломтю хлеба. Утирая пот со лба, благожелательно улыбнулся. Ешьте!

Стрелок вопросительно глянул на своего командира. Пилот не торопясь выпустил из своих красивых губ очередное колечко дыма и коротким, но сильным движением смахнул со стола оба котелка.

Кто-то из солдат возмущённо ахнул. В наступившей тишине было слышно, как Каримыч, пыхтя, собирает с пола макароны — не пропадать же добру, батарейная Жучка съест. Затем повар выпрямился и, ни слова не говоря, звонко хрястнул своей ладонью по лицу гитлеровца, да так, что тот шмякнулся головой об стену.

— Красноармеец Каримов! — в землянку спускались комбат, переводчик и начальник особого отдела. — Как вы смеете бить пленного?

Повар вытянулся, губы его дрожали.

— Виноват, товарищ старший лейтенант!

— Котелком надо было по харе съездить, — заметил начальник особого отдела.

— Могу! — вскинулся повар. — Он свинья этакая...

— После драки кулаками не машут! — прервал Каримыча комбат. — Иди-ка, Каримыч, скоро обед. А свинью не смей оскорблять сравнением с фашистом. Свинья — животное благородное! Преподал тебе гитлеровец политграмоту, до конца войны не забудешь! Сейчас знаешь, что такое завоеватель.

Глава 13

На фронте, случалось, происходили удивительные встречи. Встречались братья или отец с сыном, хотя их призывали в разное время. Встречались друзья, которые в мирное время не виделись годами. Встречались соседи.

Ну ладно, попасть в одну батарею с Витькой Шибановым вероятность была большой. Хотя его выпустили лейтенантом, а меня — сержантом, но оба мы — зенитчики. Но я бы ни за что не поверил, если бы мне сказали, что на батарее увижу Люсю Воронову.

Об этом мне сообщил сам Витька. Он совершал утренний обход орудий и приборов, к моему удивлению — не придрался, что у Плясунова в ящиках заржавели снаряды. Поднимаясь по съезду из ровика, как бы между прочим заметил:

— Завтра, Софонов, на батарею прибудет наша общая знакомая — Воронова. Военфельдшер.

Мне вначале показалось, что я ослышался. Люся? К нам? Почему именно к нам? И вдруг увидел себя со стороны —

в обмотках, в неуклюжих ботинках с загнутыми носами, в замасленных брюках и в звании сержанта. Я опустился на нагретую солнцем орудийную платформу и бездумно принялся водить по её ребристой поверхности ладонью. Толя протирал у пушки азимутальный лимб, участливо покосился на меня. Видимо, моё лицо было весьма удручено, потому что Толя спросил:

— Помкомбат Шибанов опять что-то нашёл у нас неладное?

Я покачал головой. С Толей всё было хорошо. Мы с ним часто делились сокровенными мыслями. Он знал всё о моих отношениях с Витькой и Люсей.

— Надо же так! — Толя сочувственно вздохнул, когда я поведал о Витькином сообщении, и сел рядом на платформу. — Скорее всего, она сама выхлопотала, чтобы её направили в одну часть с любимым человеком. Это сделать не так уж трудно. Наша часть во втором эшелоне.

И вот в одно прекрасное утро батарею облетела весть — прибыло двадцать девушек. Их прислали взамен бойцов, отправленных на Южный фронт. Плясунов и Лаврентий ухитрились сбегать к землянке старшины и наперебой делились впечатлениями.

— Старше двадцати лет нет ни одной, — объявил Ляпунов. — Их сейчас подстригают, потом поведут в баню. У одной девчонки косы аж до ж... Плачет, не хочет, чтобы их обрезали. Я ей толкую, что, мол, в армии с косами хлопотно: насекомые могут завестись, да во время тревоги ночью за что-нибудь можете зацепиться. Эх, как она меня ожгёт глазами! Не твоё, говорит, дело! Я эти косы с трёх лет растила.

— А новенькая фельдшерица хороша! — вздохнул Плясунов, свёртывая цигарку. — Аккуратненькая, как карандашик.

А фигурка! А ножки! Прелесть! Когда нагнулась, так из-под синей юбки коленки выглянули. Кругленькие да розовенькие! У меня аж дух захватило!

Толя возмутился:

— Как вам не стыдно, Плясунов? У вас одна песня, а ведь вы человек семейный, двое детей.

Но Плясунова невозможно смутить. Выслушав с серьёзным видом Толину мораль, он поинтересовался:

— Неужели, товарищ сержант, вы ни к одной не подсыплетесь?

— Подсыпайся сам! — в сердцах бросил Толя, покрываясь краской.

— Ах, товарищ сержант, сбросить бы мне этак годков двадцать. Я показал бы вам, почём сотня гребешков. Вот я когда женился...

— Довольно болтать, — не выдержал я. — Орудие не начищено, снаряды в ровике у вас, Плясунов, опять порыжели. К орудию!

Прибывших девушек направили в приборное и дальномерное отделения, на кухню, во взвод управления телефонистками.

«Люся здесь. Люся ходит сейчас по батарее. Она где-то рядом», — эти мысли не давали покоя целый день. Мне очень хотелось увидеть её и в то же время пугало, что она вдруг сама заявится к нам на орудие. И хотелось куда-то скрыться... Дорого бы я дал, чтобы меня перевели в любую часть и кем угодно.

Вечером того же дня Толя подошёл и стиснул мой локоть.

— Видел! — прошептал он. — Она действительно необыкновенная девушка. И какое редкое сочетание: белокурые волосы и тёмно-карие, почти чёрные глаза! А по характеру, видать,

принципиальная. На кухне при мне отчитала старшину. Потрудитесь, говорит, заменить цинковые вёдра под квашеной капустой эмалированными. А он: где их взять? А она: не моё дело. Оказывается, от соединения капустного рассола и цинка образуется вредный окисел.

Люсю я увидел на третий день. Она шла в сопровождении Витьки к прибористам. На ней была гимнастёрка с петлицами лейтенанта медицинской службы, на голове — синий берет. Витька шёл на шаг позади неё, видимо, острил, так как девушка звонко и счастливо смеялась.

— Хороша парочка — баран да ярочка! — заметил вездесущий Плясунов и пошло захохотал. — Охмурит её наш помкомбата. Так и крутится возле докторши, как шмель возле тарелки с мёдом. А она так вся и тает, так и тает!

«Никаких чувств у Люси ко мне нет. Даже дружеских, — грустно размышлял я. — Неужели бы не прибежал я к однокласснику, с которым десять лет вместе учился, выпускал стенгазету?»

— Просто она ослеплена любовью к лейтенанту Шибанову, — ответил на мои сетования Толя. — Женщина живёт сердцем.

— А как же наш поцелуй?

— Поставь себя на её место: ты любишь и любим. И тебе всем хочется делать только хорошее. Почему бы однокласснику не разрешить себя разок поцеловать, если ему так хочется? Пусть он будет так же счастлив.

Меня забавляли Толины рассуждения о чувствах, точно он был заядлым сердцеедом. Толя мне признался, что тоже полюбил одноклассницу. Но она об этом даже не подозревает. Сейчас учится в МГУ. В девятом классе на перемене он нечаянно

попал девушке в лицо снежком. Та ему напинала и обозвала «рахитом». Толя не мог заснуть от огорчения всю ночь — переживал и даже хотел свести счёты с жизнью с помощью ремня от брюк.

— Не давай поцелуя без любви! — напомнил я афоризм, который мне привёл однажды Мизунов.

— Ну, это от индивидуальных особенностей человека зависит, — возразил Толя. — У одних в радости душа нараспашку, другие — скрытные. Психология!

* * *

Люся пришла к нам на орудие выполнять одну из своих обязанностей — искать у солдат вшей. Вшей у нас не было, но проверять полагалось.

Как бы поступил Василий Соколов на моём месте? Он бы выстроил отделение в шеренгу, приказал бы снять нательные рубахи, сам бы снял и встал с гордым выражением лица рядом с бойцами.

Я так и сделал. Не знаю, гордое ли выражение лица у меня было, когда стянул рубаху, но на Люсю старался не смотреть изо всех сил.

Накрапывал дождь, и потому санитарный осмотр проводился в землянке.

— Ах, как у вас хорошо! Чисто! — послышался такой знакомый голос. — Всё обили фанерой. Кто это у вас такой мастер?

Серега Кротов самодовольно ухмыльнулся. И вдруг совсем рядом:

— Здравствуй, Яша!

Наши глаза встретились.

Люся улыбалась. Как шёл к её золотистым волосам синий берет! Лицо круглое, нежное. На щёчках ямочки. Девушка за год ещё более расцвела и похорошела.

— Здравствуйте, — еле выдавил я из себя.

Люся ещё что-то хотела сказать, но сдержалась. Видимо, её смутило моё холодное приветствие. Проверив чистоту котелков и ложек, она направилась к выходу, поскрипывая хромовыми сапожками. Я пошёл следом.

Выйдя из ровика, Люся обернулась ко мне:

— От Дуси Рыжовой тебе, Яша, привет!

Какой Дуси? Ах да, той рыжей девчонки!

Капли дождя стучат по брезентовым чехлам принимающих приборов азимута и угла возвышения, стреляют по листьям молодых осинок, что растут за орудием. За кручей виднеется серая от дождя лента Оки. Она у Горького впадает в Волгу. А Волга несёт свои воды мимо нашего городка к Каспию. Течёт она мимо Сталинграда, где сейчас разгорается битва. Нет, прав Толя, надо проситься на передний край. Живём здесь как дачники. Вернёмся домой — о чём будем рассказывать? Как девчонка проверку на вшивость проводила?

* * *

— Мизоныч, а помкомбат Шибанов обгулял нынче ночью нашу врачиху! — эту фразу я услышал от Плясунова сквозь сон после отбоя. Трубочный сменился с поста, и примостившись возле железной печки, свёртывал «козью ножку».

Толя был дежурным по батарее. В его обязанности входило менять часовых, будить утром поваров. В землянку он зашёл, чтобы переобуться — хлестал дождь со снегом.

— Вы, Плясунов, извините, ведёте себя как женщина. Нехорошо сплетничать!

— Сплетничать? — изумился Плясунов. — Да это истинная правда!

— Допустим! Но для чего вы это мне говорите?

— А то, что вы жизни не знаете, спорите: она-де святая! Мадонна! Знаем мы этих мадонн!

— Потише, Плясунов, ребята спят! — я видел сквозь ресницы, как Мизонов с опаской покосился в мою сторону.

Но Плясунову не терпелось почесать язык. Примостившись на чурбаке, он протирал винтовку и повествовал:

— Вчера вечером только заступил на пост — смотрю, к нашему орудию идёт какая-то фигура в комсоставской шинели. Узнаю товарища помкомбата Шибанова. Докладываю, как положено. Он вынимает портсигар, угощает папироской, но предупреждает, что, мол, закуришь, когда сменишься. Что вы, говорю, товарищ лейтенант, Устав караульной службы знаем. А ты, спрашивает, когда сменишься? Через два часа, отвечаю. У меня, говорит, Плясунов, к тебе просьба. Я буду в гостях у фельдшерицы — у неё сегодня день рождения. В случае тревоги ты постучи по трубе печки. Услышу. Мне что? Начальство приказывает — наше дело выполнять.

— Почему именно он тебе поручил, а не дежурным других орудий?

— Чудак-человек! Да ведь наше-то орудие ближе всех к землянке санпункта. Ну вот, спустился товарищ лейтенант в землянку фельдшерицы спирт пить в честь её рождения, а я думаю: дай хоть в трубу понюхаю, как он, спирт-то, пахнет. Забыл уже его запах. Тихонечко так по крыше шагаю до трубы,

чтобы в землянке не услышали. Нюхаю. А оттуда только дымок и голоса, да так явственно, точно по радио. Она: «Витя, давай это после войны...» Он: «Неизвестно, когда она ещё кончится, а ты меня просто не любишь, издеваешься». Она: «Не целуй колени так сильно, на них синяки будут. Пусти!» Он: «Смеёшься надо мной!» Она: «Не воображай, пожалуйста! Витька, ты ненормальный! Бесстыдник! Ой, больно...» С полчаса я поди ещё стоял, но больше ничего не услышал.

— Это ещё ни о чём не говорит, — неуверенно ответил Толя.

— Эх, товарищ сержант, — безнадёжно вздохнул трубочный. — На всё-то ты через книги смотришь. А в книгах что? Там описывают, как правильно надо себя вести, как правильно жить. Всё это хорошо. Но ведь в жизни не всегда так получается.

Глава 14

Дачное житьё у нас окончилось в конце зимы. Фашисты разгромлены под Сталинградом. На обложке февральского номера «Крокодила» был нарисован Гитлер в русском полушалке, а позади него висела географическая карта, на которой, обведённый кольцом, значился Сталинград. Подпись гласила: «Потерял я колечко, а в колечке... тридцать три дивизии».

Толя с воодушевлением читал сообщения Информбюро, где указывались многочисленные населённые пункты, очищенные от оккупантов.

Баранов удивлялся:

— Смотри-ка, сколько немец городов настроил!

Не улавливая иронии, Толя кипятился, доказывая, что фашисты, наоборот, не строят города, а сжигают.

— Почему же когда эти городки сдавали, то газеты ничего не писали? Значит, немец их построил, — продолжал настаивать заряжающий под сдержанный смех расчёта.

Мизонов на миг замешкался, но вскоре нашёлся:

— Представь, Баранов, что у тебя умерла любимая дочь. Как ты легче перенесёшь это известие: если тебе просто скажут, что дочь умерла, или начнут описывать агонию, её последние слова, затухающие глаза, синеющие губы?

Миша был посрамлён.

Вечером того же дня Толя протянул мне листок бумаги. Губы его были решительно сжаты, глаза смотрели прямо и твёрдо. Я уже догадался, что написано в этой бумажке. Так оно и оказалось. Мизонов просил командование батареи направить его на передний край, где решается судьба Родины. Раздобыв бумаги, я тоже написал рапорт на имя комбата с просьбой направить меня на фронт.

Нас с Толей вызвал лейтенант Нистратов. Расхаживая по землянке КП, он возмущался:

— Вот мудрецы нашлись! А мне, думаете, не хотелось бы поближе к переднему краю, чтобы по-настоящему бить этих гадов? Думаете, вы одни только такие умные?

Командир взвода долго ещё говорил о дисциплине, воинском долге, потом вернул нам с Толей рапорты и сказал:

— Могу порадовать: скоро наша дачная жизнь, как вы выражаетесь, окончится. Гарантирую вам почти фронтовую обстановку.

В конце февраля появились офицеры в пожелтевших, замызганных шинелях. Они ходили вместе с нашими командирами по ровикам, всё осматривали.

— Сталинградцы! — сообщил Лаврентий. — Нас сменять прибыли.

— А мы? — спросил Толя.

— Ближе к фронту.

— Ура! — закричал Мизонов.

Целые сутки мы возили орудия, снаряды и прочее имущество, грузили всё это на платформы и в вагоны.

А спустя ещё сутки поезд остановился на большой разрушенной станции. Из всех построек на ней сохранился только деревянный барак, в котором ютились железнодорожники, да брусковое административное здание. Станцию обступали старые тополя, израненные, с поломанными сучьями, протянутыми точно в мольбе к жёлтому утреннему небу.

За станцией, словно средневековый замок, возвышался элеватор. Скрученная спиралью металлическая лестница, пустые глазницы окон. Среди прокопчённого снега серели бетонные коробки складов без крыш.

— А сколько сюда засыпалось хлеба! — вздохнул Егоров. — Из Орловской, Курской и Белгородской областей десятки эшелонов приходили.

— Отец! — высунувшись из вагона, окликнул Лаврентий седоусого сцепщика. — Здесь часто бомбят?

Сцепщик повернул худое лицо, угрюмо буркнул:

— Поживёшь — узнаешь.

По пояс в снегу мы помогали автомашинам тянуть наши пушки в поле на огневую позицию. До нас станцию Горбачёво охраняла другая батарея, которую, как и нашу, тоже перебросили куда-то. Теперь нам предстояло защищать её от стервятников.

Глава 15

У моей мамы была странная присказка. Если она допоздна засиживалась за каким-нибудь домашним делом и начинала позёвывать, то говорила: «Аще, что на свете слаще?», и сама себе отвечала: «Сон!»

— Что такое аще? — спрашивал я.

— Это просто так говорится, чтобы складнее было. — И уверяла: — Слаще и дороже сна ничего нет на свете.

Такое мамино утверждение меня смешило. Положим, мёд всё равно слаще сна. Какой дурак предпочтет сон мёду, хотел бы я видеть.

— Без мёда проживешь, а вот без сна — нет, — заявляла мама.

На батарее я вспомнил мамины слова.

Отбой. Завалившись на топчан, покрытый брезентом от орудия, мы, уставшие за день от тревог, мгновенно засыпаем. И вдруг топот по ступенькам и истошный крик дежурного:

— Тревога!

Ошалело вскакиваем, засовываем ноги в ботинки, шинели — внакидку, и к орудию.

— Первое готово! — докладываю я в сторону КП.

— Второе готово! Третье готово! Четвертое готово! — несутся из темноты голоса остальных командиров орудий.

Проходит пять, десять, пятнадцать минут... Тишина. Гула моторов не слыхать. Только со стороны станции доносятся дыхание и свистки паровозов, лязг буферов, да из пристанционного поселка — девичий визг и пение.

— Отбой! — доносится команда. — У орудий оставить дежурных, остальным — спать!

Снова растягиваемся на охолодевшем брезенте, тело медленно согревается под шинелью, мозг начинает деревенеть. Но в тишине возникает еле слышный звук моторов. Он прерывистый, он иголкой сверлит череп, судя по звуку — это «Хенкель-111». Чего его черти носят? Диверсантов, наверное, где-нибудь сбросил. В ямах и землянках звук всегда отчётливее.

— Тревога!

Мы опять у орудия. Девчонки в посёлке всё ещё поют — несмотря на войну, жизнь идёт своим чередом.

— Кому война, а кому труляля! — негодует Баранов.

Это замечание вызывает взрыв смеха. Плясунов и Кротов закуривают, Лаврентий бьёт чечётку на орудийной платформе. Далёкий рокот мотора стихает. Томимся минут десять.

— Отбой!

За оставшиеся часы до подъёма вскакиваем ещё три раза. Под утро, когда дежуривший у орудия невыспавшийся Егоров, и потому злой, крикнул «Тревога!», на топчане никто не двинулся. С трудом оторвав голову от соломенной подушки, я кричу:

— Тревога! Тревога, чёрт подери! Поднимайтесь!

Вскакивает Толя. Со страдальчески сморщенным лицом скатывается с топчана Кротов. Лаврентий поднимается на четвереньки — в свете мигульки, что стоит на столе, мне видны его блуждающие бессонные глаза — и падает опять на постель. А Плясунов даже не пошевельнулся.

Я стаскиваю их обоих за ноги, ору, ругаюсь.

— Первое! Почему не докладываете о готовности? — слышится из темноты раздражённый Витькин голос.

— Первое готово! — кричит за меня Толя.

Восток сереет. Плясунов, прислонившись к ящикам, спит стоя. Челюсть у него с прилипшим к губе потухшим окурком отвисла. Лаврентий, не открывая глаза, широко позёвывает. Толя, уткнувшись в прицельную трубу, делает вид, что прислушивается. Но он досматривает сон. Мизонову удобнее всех спать — он сидит.

— Хотя бы пострелять, а то летает где-то в стороне, гад, порядочным людям отдыхать не даёт! — ругается Кротов.

И так каждую ночь. Если бы у меня была бочка мёда, без разговора отдал бы её за одну спокойную ночь.

* * *

Станция Горбачёво, которую нам поручено защищать от фашистских самолётов, узловая и предпоследняя перед линией фронта. Кроме нашей батареи, о её целости заботятся зенитный бронепоезд, батарея малокалиберных зенитных пушек и несколько пулемётных установок.

Чувствовалось, что на нашем участке фронта что-то назревает. Горбачёво круглые сутки забито воинскими эшелонами. Наше командование ворчит, когда днём скапливаются поезда. Комбат ругается по телефону с начальником станции.

— Немцы, понимаешь, дураки: не видят, какая превосходная цель у них под носом! Направь они сейчас, понимаешь, шестёрку «юнкерсов» — ведь у вас на станции винегрет получится!

Его опасения оправдались.

Накануне того рокового дня меня вызвал Витька Шибанов. Он остался за комбата, который уехал зачем-то в Тулу, где у нас находился штаб дивизии.

В комсоставской землянке жарко натоплено. Витька сидел за столом в хлопчатобумажном белом свитере, чистил пистолет «ТТ». Волнистый нос его лоснился от усердия. На полке горела лампочка от аккумулятора.

— Сержант Софонов, кухня без дров. Забирайте свой расчёт, и на добычу. Ясно?

— Есть добыть дрова! — повторил я, глядя на Шибанова.

Ночь выдалась ясная и тихая. Под луной стеклились ледком мартовские лужи.

Топливо в здешнем безлесном районе было проблемой. Мы, орудийщики, топили землянки сухими тополиными ветками, какие удавалось найти на станции, жгли прокладки из снарядных ящиков, но больше согревались своим телесным теплом.

А для кухни... Для кухни требовались настоящие дрова. Вот и ходили отделения по очереди на добычу. Основной базой являлась станция. Из-под кирпичей разрушенных домов можно было наковырять за ночь не один кубометр дров. Однако всё это было собственностью железной дороги, и линейная милиция солдат прогоняла.

По пути на станцию мои мужики степенно рассуждали.

— Начальство наше всё бензин экономит, — говорил Плясунов. — По Орловскому шоссе в сторону Мценска есть лесок. Два рейса, и на полмесяца обеспечены.

— Ребята с четвёртого орудия спилили на дрова три телеграфных столба, — сообщил Лаврентий. — Пилили через столб. Сейчас ещё верхушки с изоляторами болтаются на проводах.

— Это уже вредительство! — возмутился Кротов.

— За такое дело штрафная рота полагается! — поддержал его Толя.

На станции ночное безлюдье. На путях темнеют эшелоны. Со студебеккерами, броневиками и лесом.

— Вот то, что нам надо! — обрадовался Ляпунов и полез по скобам.

Залезли на вагон и мы. Гладко оструганные брёвна серебрились под луной. Плясунов начал выколачивать распорки.

Кротов вдруг решительно распрямился:

— А ну, ребята, пошли отсюда!

— Что-о-о?

— Пошли, говорю, отсюда. Это же сборные дома! Видите шпунты? Везут в освобождённые от фрица районы. А мы их в печку!

Плясунов длинно и матерно выругался:

— Сознательный какой нашёлся!

— Идёмте, Плясунов, — приказал я. — Может, на развалинах что-нибудь добудем.

Однако на развалинах нам не повезло. Едва вытянули из-под кирпичей тяжеленную балку, как вынырнула фигура милиционера с карабином. Лаврентий, сызмальства питавший неприязнь к блюстителям порядка, стал подкрадываться к нему, но милиционер проворно отскочил и выстрелил в воздух. В итоге меня, как старшего, задержали в комендатуре до утра, а расчёт с миром отпустили.

Допрашивал помощник коменданта — лейтенант в милицейской форме, с кудрявой байроновской головой. Он сулил мне и тому, кто нас послал, различные кары, а в заключение не без ехидства заметил:

— Я в Горбачёво с момента его освобождения нахожусь. Сколько воздушных налётов было, и хотя бы одного стервятника сбили! За что вас, зенитчиков, только хлебом кормят?!

В просторной прихожей, растягиваясь на деревянной лавке, я не без удовольствия подумал, что эта ночь для меня пройдёт без тревог. Интересно, как Витька отнесётся к моему задержанию? Мои мужики правы: дрова можно добывать не криминальным способом.

В коридоре хлопнула входная дверь, и сиплый голос сокрушённо сказал:

— Ещё эшелон прибыл! Сборный. С горючим и боеприпасами. Скуратово не принимает, и у нас разгружаться не думают.

И кто-то не без тревоги заметил:

— Ночь ясная. И день завтра такой же будет. Вот если налёт!

* * *

Выручать меня пришли комиссар и лейтенант Нистратов.

— Растяпы! — прорычал Нистратов. — Милиции поддались! Мудрецы! — И несердито рявкнул: — Марш на батарею!

На окраине станции лежал штабель наших снарядов и ящики с бутылками горючей смеси. Зимой их не успели вывезти. Ящики охраняла Клава Лебедева из отделения связи. Маленькая, толстенькая, в больших валенках, подшитых белой стелькой, она, задрав к утреннему безоблачному небу миловидное личико, к чему-то прислушалась.

— «Хенкель» летит! — определила Клава и серьёзно посмотрела на меня серыми глазами.

Я на бегу пустил в неё снежком, но не попал. Клава забавно сморщила свой веснушчатый носишко и показала язык.

Порывистый вой одинокого «Хенкеля» становился всё явственнее. Разбрызгивая лужи, я мчался во весь дух к батарее. От станции она находилась в трёхстах метрах. Стволы пушек уже медленно поворачивались, над столом ПУАЗО склонились прибористы. Сейчас первый номер совместит одноцветные графики, крикнет «Есть совмещение!», и батарея даст залп. Четыре снаряда под углом упреждения помчатся к невидимой точке встречи с «Хенкелем».

Ревун! Залп, второй, третий...

— Перекур! — крикнул Плясунов, когда объявили отбой, и, доставая кисет, поинтересовался у меня: — Как спалось, товарищ сержант, на новом месте? Невеста не приснилась? Завидую! А нас четыре раза по тревоге поднимали. Топливо-то нашли. У бронепоезда уголька позаимствовали. Всё законно!

До обеда, ко всеобщему удивлению, прожили без тревоги.

— К чему бы это? — удивился Баранов, собирая котелки, чтобы идти на кухню.

— Немцы Пасху отмечают, — предположил Плясунов. — Не то что мы, греховодники. Яйки, млеко жрут, шнапс лакают.

Трубочный хотел ещё что-то добавить, но резкий звон в рельс заставил всех броситься к пушке.

— Двадцать бомбардировщиков типа «Юнкерс-87» в сопровождении истребителей идут к станции, — крикнул от КП разведчик.

Через минуту мы все различили мощный гул. Он ширился и надвигался. Дальнейшее произошло в считаные секунды. В моей памяти запечатлелся почему-то Витька Шибанов. Приняв картинную позу впереди батареи, он, указывая рукой на запад, скомандовал:

— По штурмовой авиации! Огонь!

В следующее мгновение Витьку точно ветром сдуло.

«Юнкерсы» шли от солнца, и Толя, припав к прицельной трубе, плачущим голосом кричал:

— Не вижу! Где? Где они?

Я вначале тоже ничего не видел. Но вдруг заметил какие-то странные несущиеся пунктиры. «Это же плоскости пикирующих самолётов сверкают на солнце!» — мелькнула догадка. Толя тоже их увидел.

— Взрыватель восемь! — заорал я.

Запоздалый грохот орудия и взрывы первых бомб слились воедино. Что-то тяжёлое сдавило грудь, затруднило дыхание. На голову и плечи рухнул земляной дождь. Четырёхпудовый ящик со снарядами у спуска в котлован подпрыгнул и легко, как спичечный коробок, перевернулся в воздухе.

Вой. Рёв. Свист. Мы все припали к платформе. Я повернул вверх лицо. Прямо над нашей пушкой выходил из пике желтокрылый «Юнкерс». Над ним висел тонкофюзеляжный истребитель — «Мессершмитт».

— К орудию! — гаркнул я, вскакивая. Но тугой удар воздуха сбивает с ног. В двадцати метрах от орудия бурым куполом вспучивалась земля, распадаясь на гигантские глыбы.

— Фугасную сбросил! — крикнул рядом Кротов. — Сотку! Не меньше!

Налёт окончился так же неожиданно, как и начался. Мы долго и яростно били из орудия вслед улетающим самолётам.

Наконец всё стихло, я поглядел на своих мужиков. Лица осунувшиеся, чумазые. Пол в ровике и платформа в земле. Везде валялись гильзы, перевёрнутые ящики, продырявленные осколками котелки, которые в момент налёта Баранов оставил на бруствере.

На станции бушевало рыжее пламя, с хворостяным треском рвались в пылающих вагонах патроны, а высоко над тополями, жирно клубясь, разрастался гигантский чёрный гриб дыма.

— В нефтеналивную угодил,— заключил Баранов. — А вот под Вязьмой в 41-м...

Прибежала Люся, бледная, без шинели. Озабоченно крикнула с бруствера:

— У вас раненые есть? Нет? Яша, за мной!

Перескакивая через комья земли, я устремился за нею. Люся бежала быстро, мелькали туго обтянутые хромом полные икры ног.

У землянки связистов мы спрыгнули в ход сообщения. Бомба угодила в крышу блиндажа, пробить её не смогла, но накатник частично обрушила. От входа осталась узкая щель, в которую можно было пролезть только ползком. Оттуда неслись стоны.

Я было ринулся к этой щели, но Люся скомандовала:

— Назад! Полезу я. Может, у человека кровотечение или перелом. Что ты понимаешь в этом?

— Во-первых, я в школе сдавал нормы на значок ГТО, а во-вторых, тебя может придавить брёвнами.

— Прекратить разговоры, сержант Софонов! — махровые глаза смотрят в упор, по-командирски. — Полезу я. А ты меня будешь тянуть за ноги, как только прикажу. Ясно?

— Ясно! — повторил я, почёсывая затылок. Научилась уже командовать.

Воронова полезла в щель. Стоны усилились. Люся что-то ласково говорила раненому, потом крикнула:

— Яша, тяни!

Вначале я ухватил Люсю за поясной ремень, ведь если тянуть её за ноги, то юбка задерётся. Но она тотчас завопила:

— За ноги, тебе было сказано!

За ноги так за ноги! Ухватившись возле щиколотки, я с трудом вытягиваю Воронову из щели вместе с раненым солдатом. Встав на колени, она с пунцовым лицом завершает перевязку — у солдата разбита голова, глаза безразлично смотрят в пространство.

— Шок, — говорит Воронова.

Я машинально помогаю Люсе бинтовать, и вдруг замечаю её располневшую талию. Так вот почему Люся так яростно на меня заорала, когда я стал тянуть её за ремень! Значит, она скоро будет мамой, а Витька — отцом.

Со стороны станции показались двое бойцов. Они волокли большие санки, на них лежало что-то неподвижное, завёрнутое в брезент.

— Ребята, кого-то из наших убило! — ахнул Толя.

В глаза бросились торчащие валенки с белыми стельками. Где, где я видел эти валенки? И совсем недавно. Сегодня.

— Клавку Лебедеву ухайдакало, — сообщил Лаврентий. — Какая чудесная деваха была!

До вечера мы приводили в порядок орудия, таскали со станции уцелевшие ящики со снарядами. На толстых, шершавых стволах тополей плясали багровые отсветы огня догоравших вагонов, под деревьями какие-то люди молча укладывали в длинные ряды убитых, среди них я заметил труп с кудрявой байроновской головой. Пахло горелой краской и взрывчаткой.

Перед ужином Кротова вызвали на КП к комиссару. Он быстро вернулся и начал топором отрывать от стены доски. Никто его не спрашивал, зачем это он делает. Потом Серёга начал из проволоки делать гвозди и мастерить узкий ящик.

Салазки с телом Клавы стояли за кухонной землянкой. В сознании никак не укладывалось, что ещё восемь часов назад (всего только восемь!) это была цветущая девушка. Я осторожно откинул брезент и отшатнулся: на меня глядели чёрные глазницы обгоревшего черепа — серые большие глаза превратились в пепел и дым, странно блестели ровные зубы верхней челюсти — нижней челюсти не было, торчали обугленные култышки рук без кистей. А нижняя часть тела уцелела, даже была в одежде.

Рассказывали, что Клаву придавило свалившимися ящиками со снарядами и облило горючей смесью из разбитых бутылок.

Девушку хоронили поздно вечером в бомбовой воронке. Мы стояли вокруг этой воронки и смотрели, как Кротов и ещё двое бойцов устанавливают узкий ящик на её расчищенном дне. Комиссар сказал короткую речь, потом поднял пистолет и выстрелил. И тотчас дрогнул ствол ближайшей пушки, выдохнул пламя, и эхо одиночного выстрела разорвало тишину. Прощальный салют.

Расходились по землянкам молча. Завтра батарейный писарь отправит в далёкую Костромскую область письмо. И кто-то там забьётся в рыданиях. А на Тульской земле, в поле, появится ещё один обелиск с жестяной звездой. Будут над ним шуметь метели и ливни, плыть облака, петь жаворонки да доноситься гудки поездов со станции.

Глава 16

Командиры бывают разные. Одних солдаты уважают, других просто боятся, третьих любят. К первой категории относился комбат. Был он в меру строг, в меру требователен, любил вечерами посидеть с бойцами на орудии, послушать их философские рассуждения о жизни, о международных и внутренних проблемах. Благодушно посмеивался над спорщиками. Службу в армии комбат начал задолго до войны.

Витька Шибанов никогда до задушевных бесед с солдатами не опускался. Было в его отношении к рядовым что-то барско-пренебрежительное. Он необычайно ревниво соблюдал субординацию, какая существует в армии между бойцами и офицерами. За ржавое пятно на винтовке Шибанов в присутствии солдат мог наорать на командира отделения. Он не стеснялся ставить по стойке «смирно» командиров взводов, которые имели равное с ним воинское звание и были старше его. Зато перед вышестоящим начальством Шибанов ходил на задних лапках, любил блеснуть, удивить, одним словом, был мастер показухи.

— Свой авторитет для нашего помкомбата превыше всего, — отмечал Плясунов. — Ушлый мужик! Без мыла в ж... влезет.

Всеобщим любимцем был командир огневого взвода лейтенант Нистратов. Нет, он не был запанибрата с солдатами. Чёрный и носатый, как грач, он вечно суетился, шумел, восторгался и распекал кого-нибудь. Это благодаря Нистратову орудийные расчёты и прибористы быстро освоили технику. На гражданке он работал учителем. Как и мы, окончил Горьковское военное училище. Когда на батарею прислали девчат, Нистратыч пригласил всех сержантов к себе в землянку и объявил:

— Если замечу, что кто-то пытается заводить шуры-муры, собственноручно кастрирую! — и под общий хохот потряс плоским штыком от полуавтоматической винтовки. — Терпите до окончания войны. Ясно? То-то! И солдатам передайте!

Нистратыч бдительно следил за нашими взаимоотношениями с девушками. Поэтому у нас не было ни одного ЧП, чем не могли похвастать другие батареи.

Было у этого человека в поведении какое-то неуловимое обаяние, любовь к делу, к людям.

...Осень. Трёхосная не может подняться со снарядами в гору. Она возит ящики к подножию горы, а мы их таскаем на спине. Ноги скользят по глине, дождь пополам с потом промочил до нитки шинели. Вечереет. А ящикам конца не видно. Солдаты еле волочат ноги. Появляется Нистратов.

— Уморились? Да, тяжёлая работа тащить из болота бегемота!

Лейтенант взваливает себе на спину четырёхпудовый ящик, идёт с нами вверх, потом несёт второй. По бойцам точно электрический ток пропустили. Приободрились, оживились. Послышались голоса:

— Не надо, товарищ лейтенант!

— Сами стаскаем!

Но Нистратыч, тяжело дыша, доставляет наверх ещё пару ящиков.

— Вот это настоящий командир! — восторгается Кротов. — За таким солдаты в огонь и в воду... Он принёс четыре ящика. Хотя и не надо ему таскать: не положено! Он лейтенант. Это все понимают. Но посмотри, как ребята взвились! Они убьются, но сделают сверх своих сил. А почему? Да потому, что видят — человек не гнушается никакого дела. Значит, свой в доску. А взять

Шибанова. Пришёл, встал на пенёк, чтобы начищенные сапожки не замарать, да покрикивает: «Давай! Давай!» Думаешь, солдату это нравится?

* * *

После мартовского налёта Шибанов стал комбатом. Старого командира перевели в другую батарею. Витька заважничал, при встречах козыряя небрежно, не глядя на человека. На батарее появлялся редко. Все занятия поручал проводить командирам взводов и помкомвзводу.

— Сержант Софонов, вас вызывает лейтенант Нистратов! — крикнул у орудия Егоров.

Расправляя складки шинели под ремнём, я вылетел из землянки. Низкое апрельское небо сыпало снежной крупой, чернели кочки замёрзшей земли, ветер уныло гудел в задранном стволе пушки. Весна что-то капризничала: то бурно таяло, а то, как сегодня, метёт по-февральски.

В землянке КП находились лейтенант Нистратов и командир взвода управления. В печке гудело пламя. Нистратыч нетерпеливо махнул рукой, прерывая мой доклад, хмуро спросил:

— Вы с военфельдшером Вороновой бывшие одноклассники? Товарищи? Так вот, проводите своего товарища на станцию. Она демобилизовалась, едет домой.

Я слишком долго молчал, переваривая услышанное, и Нистратыч вспыхнул:

— Повторите приказание! Совсем разболтались, чёрт побери!

Я машинально повторил, лейтенант мигом затух. Подойдя ко мне вплотную и глядя куда-то в сторону, он вынул из кармана гимнастёрки толстый запечатанный конверт, вполголоса сказал:

— Отдашь ей, когда на поезд посадишь. Скажешь, что, мол, в финчасти ссуду выписали. В общем, соври что-нибудь поубедительнее.

— А где лейтенант Шибанов? — невольно вырвалось у меня.

Нистратыч неохотно ответил:

— На мотоцикле на НП* укатил.

— Какое всё-таки свинство! — покачал головой командир взвода управления.

— Ну ладно, шагай-шагай! — вытолкнул меня поскорее Нистратыч из землянки.

И вот мы медленно идём с Люсей к станции. На плече у меня висит солидного веса вещевой мешок — старшина постарался. Молодец!

Люся молчалива. Её похудевшее лицо, покрытое коричневыми пятнами, какие бывают у беременных, печально. Ветер теребит пряди волос, выбившихся из-под шапки, загибает полы шинели, которые уже плохо сходятся на вздувшемся животе.

— Почему Виктор не пошёл тебя провожать? — не удержавшись, спросил я.

Воронова метнула на меня сердитый взгляд и воскликнула:

— Не смей мне больше называть это имя!

Губы у неё задрожали, искривились. Она пыталась удержаться, но ничего не получилось. Опустившись на глыбу вывороченной земли, Люся тихо заплакала, уткнувшись лицом в ладошки. Точь-в-точь как тогда у ворот своего дома.

Я в растерянности топтался рядом, не зная, как утешить. Не умею я утешать плачущих женщин! Я просто стоял как дурак,

---

* Наблюдательный пункт.

глядел по сторонам и страстно мечтал, чтобы появился Виктор. Эх, с каким бы удовольствием надавал ему оплеух, съездил бы по волнистому носу! Пусть меня судит трибунал!

Ветер крутил жидкие вьюнки снега на взрытом бомбами поле, посвистывал в скелете хвостового оперения «Юнкерса-87». После мартовского налёта на Горбачёво стервятники совершили ещё два. Последний был особенно жестоким. Снова хоронили солдат. У меня ранило Баранова. Второе орудие вообще вышло из строя. «Юнкерс» сбросил серию бомб, которые легли между нашим и вторым орудием. Лётчик просчитался чуть-чуть. Это «чуть-чуть» — всего полтора метра.

После бомбёжки мы долго стояли возле воронок.

— Да-а, была бы в нашем ровике каша из мяса и железа, — мрачно заключил Кротов. — Прямое попадание. И хоронить нечего!

В этот последний налёт мы сбили «Юнкерс», срезав ему снарядом, как бритвой, хвост. Крутясь вокруг продольной оси флюзеляжа, бомбардировщик грохнулся на окраине железнодорожного посёлка, а хвост с диким свистом упал недалеко от нашего орудия. Практичные солдаты изрубили дюраль на портсигары и вкладыши для погон.

...Люся успокоилась, и мы двинулись дальше. На станции в ожидании поезда укрылись от ветра за стволами тополей. В тупике грудились обломки вагонов, жалобно позванивала какая-то пружинка, по-видимому, от купейного дивана, ржавели колесные пары. Прислонившись спиной к тополю, Люся устало прикрыла глаза.

— Приеду домой, — размышляла она вслух, — остановлюсь у Дуси Рыжовой. У них дом большой, комнату выделят.

На меня напал столбняк.

— А почему... почему не у себя?

Люся горько усмехнулась, нехотя открыла глаза и посмотрела на меня так, словно увидела впервые:

— Тебе из дому разве ничего не писали? Мне жить негде. Папа осенью сорок первого вместе с санбатом оказался в окружении, а потом попал в плен. Об этом нынче зимой только узнали. Маму местные власти попросили квартиру освободить. Ведь мы сейчас семья изменника. А папа, может, раненых не хотел бросить? — пухлые Люсины губы задрожали опять, но на этот раз она сдержалась, прикусила их и некоторое время молчала.

— Мама сейчас в Казани у тёти живёт. Комната маленькая. Что мне там делать? — вновь заговорила Люся. — Как она со своим больным сердцем перенесла — не представляю! — Воронова вновь закрыла глаза и, упершись затылком в ствол тополя, застыла.

На небе образовалось голубое окно, в него брызнул солнечный лучик, и на полуразрушенной станции стало по-весеннему тепло и даже празднично. Терпко запахло набухающими почками и влажной землёй. Взглянув на Люсю, я с удивлением заметил, что она улыбается. Улыбается какой-то радостной улыбкой. Глаза со стреловидными ресницами по-прежнему прикрыты, но угловатые брови разошлись в изумлении.

— Яша! — прошептала она с жарким восторгом. — Яша! Он шевелится!

— Кто? — в страхе и тоже шёпотом спросил я, абсолютно ничего не понимая. Не сошла ли Воронова с ума от горя?

Но зазвенел колокольчик Люсиного смеха:

— Ой, какой же ты глупый! Ребёнок шевелится! Во мне! Вот! Вот! Опять!

И тут на меня нашло. Я говорил горячо и твёрдо. Так, несомненно, говорил бы и мой несуществующий кумир Василий Соколов.

— У Дуси жить тебе незачем. У Рыжовых вон какая семья! Иди к нам. Ты ещё не знаешь, какая у меня чудесная мама! Помнишь, на второй день войны я к тебе пришёл пилить дрова? Это она меня послала.

Одним словом, я говорил долго. Люся меня не перебивала. Она смотрела на меня то с удивлением, то с растерянностью. Иногда её взгляд становился далёким, и я понимал, что она прислушивается к новой жизни в себе.

Тут мне пришла новая мысль: я отправлю с Люсей маме письмо! И сделаю это сейчас же. Бумагу я всегда носил в кармане из опасения, чтобы мои мужики её не искурили. Карандаш тоже при мне. Усевшись на ось колёсной пары и положив на колено обломок доски, я принялся сочинять письмо. Я писал маме, что люблю Люсю со школьной скамьи, что у неё от меня ребёнок, значит — её внук, чтобы она берегла и Люсю, и моего сына. В том, что родится сын — я не сомневался.

Тщательно сложив письмо в традиционный треугольник, я ревниво проследил, чтобы Воронова спрятала его в карман гимнастёрки, засунул ей, не обращая внимания на удивлённые вопросы, и деньги Нистратыча.

Пришёл поезд. В военные годы, он состоял из разномастных вагонов: товарных, платформ и пассажирских. Двери пассажирских, конечно, были заперты, ибо никаких билетов на прифронтовых станциях не продавали, не было даже касс.

Я принялся дубасить в одну из дверей вначале кулаками, а затем ногами. Щёлкнул замок, и с руганью выскочила проводница. Я её оттолкнул и втянул в тамбур Люсю.

Вагон был битком набит военными и, конечно, тонул в табачном дыму. В проходе какой-то желторотый лейтенантик с новенькими погонами вознамерился было сцепиться со мной, призвать, так сказать, к порядку. Но увидев Люсю, смолк, точно отключённый репродуктор, и даже засуетился, галантно освобождая ей место на скамейке.

В купе все уставились на Воронову, и я готов был полезть в драку с каждым, невзирая на ранги, кто осмелится сказать что-нибудь циничное. Но никто ничего не сказал. Лейтенант предложил мужчинам курить в тамбуре, и все начали тушить окурки.

— Давай попрощаемся! — сказала Люся, и мы вышли на площадку. — Яша, а напрасно не переписываешься с Дусей. Она так хотела с тобой дружить! Помнишь, ты обозвал её рыжей коровой? Она тогда всю ночь проплакала.

Я пожал плечами. К чему она мне опять навязывает Дусю? Конечно, поступил я тогда не совсем хорошо, но и Дуся тоже отколола номер — уселась на меня верхом.

Вагон дёрнулся и поплыл. От толчка Люся качнулась на меня. Я схватил её за голову и стал целовать глаза, лоб, щёки и руки, которыми она пыталась расцепить мои руки. Может, я её больше не увижу. Погибну под бомбами.

— Поезд уже пошёл! — твердила она. — Прыгай скорей! Прыгай же!

Земля подбросила меня, перекувырнула, ободрав колено и посадив на лоб шишку. Но на этот пустяк я не обратил ни малейшего внимания. Во мне всё пело. В воображении уже вста-

вали волнующие картины будущего. Вот-вот откроется второй фронт, и немцы покатятся на запад. Гитлер будет разбит. Мир!

Я еду домой, предварительно дав телеграмму. С чемоданом в руке поднимаюсь от пристани. Меня ждут мама, братишка Волька и Люся с малышом. Люся немного смущена. Мама от радости плачет. Волька тащит мой чемодан.

Мы пьём чай на террасе. Жужжат пчёлы. Бело-розовые лепестки яблонь падают на скатерть. Наступает вечер. Вместе с Люсей идём в мою комнату. Я тихо обнимаю женщину и смотрю в глубину её чудесных махровых глаз. В окно глядится луна, в саду соловей рассыпает первую трель...

Споткнувшись о шпалу, я едва не разбиваю себе голову о буфер обгоревшей платформы. С минуту тупо гляжу на неё, возвращаясь к действительности. У платформы совсем нет досок — всё сгорело, и броневики, стоящие на ней, провалились. Это результат последней бомбёжки.

В поисках уцелевших патронов мы с Лаврентием тогда залезли на один из броневиков. Наше внимание привлёк пулемёт с зенитным прицелом, торчащий из открытого люка. За ручки пулемёта держался обгоревший до костей боец. Эта картина так потрясла нас, что, забыв про патроны, мы молча спустились с платформы и молча ушли на батарею.

...Послышался шум поезда. Между деревьями замелькали зачехлённые танки, фигуры часовых. Прибыл новый эшелон с техникой.

* * *

Первыми моими словами были, едва я вернулся на батарею со станции, — вернулся ли с НП Шибанов. Нет, я ничего не

собирался у него выяснять. Для чего? Меня волновал вопрос, что же, в конце концов, произошло между Вороновой и Шибановым. Поссорились? Но ведь не настолько, чтобы не идти провожать любимую женщину на станцию. К тому же беременную. Мама с отцом дома тоже ссорились, но когда предстояло решить какое-то общее сложное дело, они забывали про распри, быстро заключали перемирие.

Толя, уже обо всём знавший, не без иронии доложил:

— Лейтенант Шибанов всего полчаса назад вернулись с НП и выглядели как смоченный дождиком огурчик. Улыбающийся, розовый от весеннего ветерка, они прошлись по батарее, покурили возле дежурного разведчика. Изволили пошутить с выбежавшей из кухни поваром Тасей и даже подержали её за полненький локоток. А затем распорядились принести себе в землянку обед.

— Он Люсю никогда не любил, — твёрдо заключил я. — Она его любила, а он натешился и охладел. В общем, банальная история, каких тысячи.

Спустя неделю я получил письмо. Меня даже в жар бросило при виде знакомого почерка. Люся писала, что доехала хорошо. Заключалось письмо так: «Дорогой Яша! Даже не представляешь, какой ты замечательный парень! Прости меня, но я прочла твоё письмо к маме и решила его не отдавать. Я сама схожу к ней, расскажу, как ты живёшь. А остановилась я у Шумковых. Оба старика очень рады. Миша — наш бывший милый редактор — воюет на Кубани. Он замполит, получил уже третий орден. В 1941-м попал в окружение, два раза был ранен. Одним словом, на его долю досталось немало испытаний.

Что ещё тебе написать?

В нашем городе разместилось много эвакуированных предприятий. Выросли целые улицы, правда из бараков. В нашей школе — госпиталь. Думаю до родов устроиться на работу туда. Уже ходила узнавать. Посидела в бывшей учительской. По-бабьи всплакнула. Стол видела, на котором мы выпускали стенгазету. Раньше он был завален тетрадками, картами и схемами. А сейчас накрыт простынёй. И лежат на нём истории болезни, стерилизаторы со шприцами, бинты и медикаменты.

Из нашего класса никого не видела. Война всех раскидала. Мальчишки или на фронтах или лежат в земле, а девчата работают. Учатся очень немногие. Такое уж наше несчастливое поколение.

Меня ты не жалей. Я обыкновенная глупая девчонка, ещё плохо знающая людей и жизнь. Но духом не падаю. Все думы у меня сейчас о будущем малыше. И я — ты не представляешь — счастлива.

Напрасно ты с Дусей не переписываешься. Её сейчас в городе нет. По направлению комсомола она поехала восстанавливать из руин Сталинград. Живет там в фюзеляже сбитого „Хенкеля-111“. Прощай».

Вот и всё. Мои радужные мечты о будущей встрече выглядели смешными. Что же всё-таки произошло между Шибановым и Люсей?

* * *

В Первомай нам вручали ордена за успешное отражение воздушных налётов вражеской авиации. Для вручения наград ожидался приезд начальства из Тулы, а потому ещё накануне на орудиях и приборах шла генеральная чистка материальной части, приводилось в порядок по мере возможности обмундирование.

На нашей пушке работа также кипела. Слышались смех, шутки.

— Ну как, Лаврентий, американские ботинки? Не жмут? — это Плясунов подначивает.

— Пошёл к чёрту! — негодует Ляпунов, орудуя тряпкой возле принимающего трубки.

Следует общий хохот.

История с американскими ботинками такова. Плясунов объявил мне, что у него расхудились ботинки. Подобную жалобу слышал я и от Лаврентия. Старшина выдал мне для солдат две пары ботинок: одни были ленинградские, ещё довоенного производства, вторые — импортные, американские. Наши ботинки были неказисты на вид: сверху толстая свиная кожа, сыромятные шнурки, резиновая подошва. Американские башмаки сверкали коричневой кожей, на толстой подошве торчали металлические шипы. Не ботинки, а картинки!

Шагая на орудие, я ломал голову над проблемой распределения обуви. Вначале хотел американские ботинки отдать Лаврентию. Всё-таки парень молодой, хочется пофорсить в красивой обуви перед батарейными девчатами. Но потом подумал, что негоже обижать Плясунова. Он самый старший в нашем расчёте. С другой стороны, и Ляпунова жалко... Так ничего и не решив, принёс я ботинки, положил на платформу. Пусть мужики сами найдут общий язык. Размер ноги у обоих одинаковый.

Конечно, Плясунов и Лаврентий сразу же вцепились в «иностранцев». Начали восторгаться: «Умеют же делать за границей вещи!», «В такой обуви только на танцы ходить».

А потом заспорили, кому их носить. Больше всех шумел Ляпунов. Подошёл Кротов, внимательно осмотрел импортные башмаки, присвистнул:

— Дрянь! Ленинградские хоть и неуклюжие, но в них смело прохожу год без ремонта.

Лаврентий не поверил: знаем, мол, вас, обвести вокруг пальца меня хотите. Не выйдет! Для консультации крикнули с третьего орудия ефрейтора — знаменитого Кимрского сапожника.

Мастер осмотрел американский ботинок, подёргал за верх, кратко объявил:

— Эрзац-кожа.

Постучал пальцем по подошве:

— Прессованный картон.

Швырнув ботинок, пообещал:

— Через месяц развалится. — К этой фразе он добавил непечатную фразу, адресованную заокеанским обувщикам, и с достоинством удалился.

Но это заключение не убедило претендентов на импортную обувь. Бросили жребий. К великой радости Ляпунова, «американцы» достались ему.

А ровно через месяц, как и предсказывал сапожник, ботинки развалились.

— Тоже мне, союзнички. Что похуже, нам посылают! — ворчал Лаврентий, разглядывая отвалившуюся подмётку.

Плясунов злорадствовал. А Толя рассуждал:

— Да они и себе такие же делают. Фабрикантам невыгодно, чтобы их обувь долго носилась. Скорее износишь — быстрее новую купишь. Капиталисту доход.

Вручать награды из Тулы приехал заместитель начальника штаба диврайона, подполковник. Этот подполковник и раньше посещал нашу батарею с различными проверками. Батарея, как правило, имела меньше всех недостатков и замечаний. Офицеры поговаривали, что секрет заключался в Витьке Шибанове, который умел должным образом встретить и проводить начальство.

Едва фигура проверяющего и сопровождающих его лиц появлялась на дороге, идущей от станции, Витька на невидимых крыльях уже летел навстречу. Мелькание начищенных до ослепительного блеска хромовых сапог сливалось в сияющий круг, точно Шибанов оседлал солнце и мчится на нём к начальству. Ровно в трёх шагах от него, как и положено по уставу, он останавливается, щёлкает каблуками и докладывает. Докладывает так лихо, что заглушает пыхтенье паровозов на станции. Эхо его голоса долго гуляет в стенах полуразрушенного элеватора, что возвышается в полукилометре от батареи.

Во время всей этой процедуры отеческая улыбка не сходит с сурового лица подполковника. Он влюблён в нашего Шибанова. Глядя на Витьку, видимо, вспоминает далёкую юность, когда так же легко летел с докладом к начальству. Витька, разумеется, всё это чувствует и из кожи лезет вон.

Вот и сейчас, когда подполковник объявил, что старший лейтенант (Шибанову перед праздником присвоили очередное звание) награждается орденом Красной Звезды, Витька пошёл получать награду таким шагом, словно окончил не военное училище, а балетную студию. Не сгоняя отеческой улыбки, подполковник собственноручно приколол орден к шибановской гимнастёрке и не сводил с него глаз до тех пор, пока комбат не встал в строй.

Орден Отечественной войны второй степени получил Нистратыч. Из моего расчёта медали «За отвагу» был удостоен Кротов.

Вскоре Шибанова перевели в штаб диврайона. Об этом, как говорят, позаботился подполковник с отеческой улыбкой. А комбатом у нас, ко всеобщей радости, стал лейтенант Нистратов. Наш любимый Нистратыч!

Глава 17

То, чего мы ожидали с таким нетерпением, о чём догадывались, началось в одно тёплое августовское утро. На рассвете дрогнула земля и тихо застонала, точно от боли. Я вышел из землянки. Дежурные всех четырёх орудий и разведчик у БКП* стояли, уставившись на запад, где по всему горизонту пульсировал багровый свет и нёсся непрерывный гул. Вначале ещё можно было различать отдельные залпы, но потом всё слилось в сплошной вой.

— Артподготовка, товарищ сержант! — возбуждённо крикнул Лаврентий, дежуривший у орудия. — Да ещё какая! Наступаем!

Да, это была артподготовка начала битвы, которая потом войдёт в историю как Орловско-Курская. Сам Орёл от нас находился километрах в ста. Подготовка к наступлению шла всю весну. Немцы тоже готовились. Весь май и июнь рыскали их разведчики. В июне в район Горбачёво прибыла прожекторная рота, и в ясные ночи мы имели возможность вести огонь основным способом.

---

* Батальонный командный пункт.

Запомнилась одна, особенно тревожная июльская ночь. В 20:30 объявили тревогу, и в тёмном небе загудели невидимые бомбардировщики. Они летели по одному, с равными промежутками времени в наш тыл. Гул моторов слышался то справа, то слева, то прямо над головой.

— Да-а-а, фашист тактику изменил, — заметил Кротов. — Когда-то его самолёты летали строем. Сейчас этого нет. Боятся!

— Строй легче атаковать истребителям, — высказал предположение Толя.

Метались лучи прожекторов в поисках стервятников. Но они словно были накрыты шапками-невидимками. Наконец одному прожектору удалось наткнуться на самолёт. В него тотчас вцепилось полроты. Над чёрной землей образовался гигантский паук с лучами-ногами и крошечным телом-самолётиком. На принимающих приборах орудий застрекотали электрические стрелки, гукнул ревун, четыре первых снаряда ввинтились в небо.

Прожекторы цепко держали самолёт в своих лучах. Когда луч кончился, включились дальние прожекторы. Так, передавая друг другу, они вели «Хенкель» чуть не до горизонта. Там его встретил и добил ночной истребитель.

В эту ночь спать не пришлось совсем. Огонь открывали шесть раз. Потом небо затихло до трёх часов утра. А в три часа «Хенкели» возвращались на свои аэродромы, и мы вновь стреляли.

Вскоре в газете прочли, что совершены воздушные налёты на Горький и Ярославль.

— Это те самые стервятники, что через нас летели, — заключил Мизонов и не без восхищения рассказал: — У нас крепко

разведка работает. Позавчера я дежурил по батарее. Захожу ночью на узел связи. Вдруг с дивизионного КП звонок. Приказ: усилить наблюдение за воздухом, так как с Орловского аэродрома в 1:30 поднялась группа «Юнкерсов-88» в количестве двадцати машин. Смотрю на часы — 1:37. Значит, какой-то наш товарищ, ведущий там, у немцев, наблюдение за аэродромом, передал эти сведения в свой центр. Оттуда, наверно, в штаб фронта, а из штаба — по группам ПВО. И всё это за семь минут. Здорово!

«Хенкели» летали несколько ночей подряд и, как правило, в одно и то же время. В одну из таких ночей местность осветилась необычным ярко-оранжевым светом, и взрыв потряс небо. На поле и батарею долго со свистом сыпались части фашистского самолёта.

Утром на КП я оказался свидетелем спора между офицерами: отчего взорвался «Хенкель»? Батареи нашей группы в тот момент огня не вели. Пришли к выводу, что это дело рук наших диверсантов — неизвестных пока героев. Прилепили, наверно, незаметно к бомбе магнитную мину, и фрицы сыграли в ящик. После войны всё-всё узнаем.

...Артподготовка всё более разгоралась. Проснулась уже вся батарея, и солдаты, и офицеры высыпали из землянок. Как обычно, после завтрака начались занятия. Но занимались так, для вида. Все прислушивались к звукам, доносящимся с запада. Иногда над нашими головами пролетали группы штурмовиков «Ил-2», за редкими облаками проплывали эскадрильи двухкилевых бомбардировщиков «Пе-2». Все в одну сторону, все на запад. Воздушных тревог в тот день совсем не было. Немцам, очевидно, было не до Горбачёво.

* * *

Ночью меня дёрнул за ногу Лаврентий.

— Вставайте, товарищ сержант! К комбату, быстро!

На КП, кроме Нистратыча, командиров взводов, находился незнакомый капитан с планшеткой и уже знакомый подполковник с отеческой улыбкой. Правда, на этот раз он не улыбался, так как не было Шибанова.

— О вашей батарее у нас самое высокое мнение, — долетела до меня фраза подполковника.

— Орудия в походное положение! Быстро! — приказал нам Нистратов. — Взять бронебойные снаряды!

Ещё в мае орудия нам заменили. Вместо пушек на огромных и неуклюжих колёсах дали пушки того же калибра, но смонтированные в кузове пятитонных «ЯЗов». Мои мужики ликовали: отпала необходимость драить платформу. Да и в смысле мобильности стало намного лучше. Раньше, чтобы привести орудие из походного в боевое положение, требовалась верёвка и усилия расчёта. Отвёл в стороны четыре упора, которые находились под кузовом автомашины, укрепил их на грунте, и стреляй на здоровье.

Как только автомашины с пушками выехали из ровиков и выстроились в колонну, нас, командиров орудий, снова позвали к Нистратову.

— Вот что, мудрецы! Получены сведения, что на одном из участков фронта, который находится к нам ближе всего, немцы утром намерены совершить прорыв с помощью танков нового типа. Это создаёт угрозу для Горбачёво. Перед батареей поставлена задача — уничтожить эти танки. Ясно? Вопросы есть?

Вопросов не было.

Солдатам расчёта о предстоящем сражении я сказал, когда машина тронулась. Мы сидели под брезентом, укрывающим пушку, как в шалаше. Несмотря на ночной полумрак, я заметил, как поёжился Плясунов, нахмурился Кротов. Зато у Толи и Лаврентия заблестели глаза.

— Дадим им жизни, сержант! Правда? — хлопнул Ляпунов Толю по спине.

— А противотанковые гранаты нам дадут? — поинтересовался Толя. — Да и автоматы не мешало бы. Ведь танки обычно идут в сопровождении пехоты. Если её на переднем крае отсечь не успеют, нам придётся винтовками действовать.

— А мы фрицев шрапнелью! — весело воскликнул Лаврентий. Он был в каком-то восторженно-нервном состоянии. И это состояние постепенно передавалось всем нам.

Ещё обучаясь в училище, мы много практиковались в стрельбе по танкам. Конечно, больше теоретически. Нам говорили, что благодаря большой начальной скорости зенитного снаряда наши пушки пробивают немецкие танки чуть ли не навылет.

Весной в училище приезжали его выпускники, которые участвовали в битве под Москвой, и с восторгом рассказывали о борьбе зенитчиков с танками. Но немцы, как сказал Нистратыч, сейчас применяют танки нового типа, с более мощной бронёй. Пробьют ли её наши орудия?

Под брезент задувал ночной ветер, нудно жужжали моторы «ЯЗов». Несколько раз мы останавливались — то на контрольно-пропускном пункте, то из-за пробки на речных переправах. Чем ближе подъезжали к линии фронта, тем оживлённее становилась дорога. Ползали тягачи, грузовики

со снарядами, по обочинам чёрными, тёмными, молчаливыми тенями тянулись колонны солдат. Навстречу попадались автофургоны с красными крестами.

У илистого оврага мы опять остановились: на его дне завязла «тридцатьчетвёрка», суетились танкисты. Густым басом выл мотор. Командир танка, схватившись за кобуру, потребовал от Нистратыча, чтобы в танк впрягся наш «ЯЗ» и вытащил его. Нистратыч тоже схватился за кобуру, и разговор повёлся на повышенных тонах. В небе вспыхнуло несколько осветительных ракет — передний край был рядом. Всё вокруг замерло, притаилось.

— А ведь нам, сержант, придётся машины закапывать, — сказал Кротов. — Ночь-то короткая. Успеем ли?

— Прибористы помогут, — буркнул Плясунов и принялся в темноте греметь лопатами — пересчитывал. Лаврентий вдруг вспомнил, что четвёртый орудийный расчёт брал у нас лом и не вернул. Начали выяснять, кто виноват, и поругались.

У развилки двух дорог, перепаханной бомбами, «ЯЗы» остановились. Последовала команда рыть огневую. Обычно позиция зенитной батареи в плане представляет собой трапецию, по углам которой располагаются пушки. Здесь все четыре орудия надо было установить в одну линию. Так ставят полевые пушки.

Сбоку одной из дорог тянулся неглубокий буерак, щетинились обгорелые кусты. Сбоку второй дороги расстилался болотистый луг, с которого неслись голоса лягушек и тянуло сыростью. Впереди, где проходила линия фронта, без конца взлетали ракеты. Далеко-далеко на горизонте горел танк. Он взорвался со странным звуком лопнувшей кастрюли.

Работали в молчании, ладони горели от волдырей, гимнастёрки липли к телу, звенели комары.

— Ребята! — воскликнул Толя. — А ведь здесь родился Тургенев.

— Не здесь, а в Спас-Лутовинове, — учительским тоном заметил из-за бугра земли голос Нистратова. — Это недалеко отсюда. А здесь Иван Сергеевич охотился.

К утру над землёй возвышались только крыши кабин «ЯЗов». Командир огневого взвода приказал замаскировать ветками орудия, открыть ящики с бронебойными снарядами и отдыхать. От лугов, цепляясь за кусты, за искорёженную землю и стволы пушек, налезал туман.

Оставив Толю за себя, я спустился в овражек. В его склоне были выкопаны землянки — целый городок. Облюбовав ближайший блиндаж, спустился по ступенькам. Когда-то он принадлежал немцам. Добротный, аккуратно подогнанный накатник, забранные досками стены.

В блиндаже разместился узел связи какой-то части. Девушка-телефонистка осипшим голосом вызывала то «Резеду», то «Гвоздику», то «Ландыш». На полу, застланном сеном, храпели сапёры и связисты, разведчики полковой разведки и водители. В дыру на потолке, развороченном тяжёлым снарядом, с зелёного неба смотрелись угасающие звёзды.

У стены стояла чугунная печь без трубы и дверцы, на куче обрушенной сверху земли лежал перевёрнутый ящик письменного стола. Я вознамерился, пока темно, разжечь печку, чтобы высушить портянки.

— Сенца вон положь. Оно как порох, — посоветовал мне усатый солдат, дремавший на корточках у стены.

Возле солдата виднелась катушка с проводом.

Когда огонь заплясал в печи, я потянул к себе ящик, чтобы сесть на него, и оторопел: под ящиком из земли проступал человеческий затылок в густых кустиках русых волос.

— Не трожь ящик-то, — сказал связист. — Тут под нами человека три ребят лежат. Отвоевались, сердечные. Отдыхают.

— А почему не хоронят?

— А когда хоронить-то? — не открывая глаз, удивился солдат. — Второй день, как наступаем, похоронные команды не успевают. Ничего, похоронят, и обелиск со звездой поставят. Честь честью. А поганых фрицев, как собак, закопают в овраге, и ни мать, ни дети не узнают, где лежат мужья и отцы. Будь они трижды прокляты!

* * *

— Артиллеристы, мать вашу!.. Танки! — от этого крика я мгновенно проснулся.

Из блиндажа вылетали наши батарейцы. Густая вата тумана окутывала всё вокруг. С запада нарастал гул моторов. Толя и весь расчёт уже были на месте.

При стрельбе по танкам из зенитного орудия команду «огонь» подаёт наводчик.

— Ну ничего-ничего не вижу! — скулил Толя, припав к окулярам прицельной трубы. — Проклятый туман! Хоть немного ветерка...

В ровик скатились бойцы из приборного отделения с ящиком противотанковых гранат и винтовками. Офицеры батареи распределились по орудиям. К нам прибежал Нистратов.

В округе начали рваться мины и снаряды.

— Спокойно! Всё будет хорошо, мудрецы! — бодро воскликнул лейтенант и, взяв гранату, улёгся с солдатами на бруствер перед пушкой. — Цельсь в гусеницы, — приказал он Толе.— Танки нового типа не бывают «тиграми». Лобовую броню можем и не пробить.

Приземистые силуэты немецких танков выступили из тумана постепенно, как на фотопластинке проступает изображение. Они двигались очень медленно, осторожничали и не подозревали, что на их пути батарея. Очевидно, танкисты опасались болота и оврага. Машины словно ощупывали местность, принюхивались хоботами пушек. Было что-то в их движении неумолимое, беспощадное. Шла смерть.

— Огонь! — звонко крикнул Мизонов, и звук выстрела резанул уши.

— Огонь! Огонь!

Танк, идущий прямо на наше орудие, Толя подбил со второго выстрела. Мы хорошо увидели, как слетела с него гусеница. Танк ещё несколько метров катился по инерции, потом его занесло вправо, и он подставил нам свой бок. Башня с орудием стала медленно поворачиваться, выискивая цель.

— Добивай! — взревел Нистратыч, подскакивая к Толе.

У Мизонова тряслись губы.

— Бруствер! Бруствер! — кричал наводчик.

— Бруствер мешает целиться! — догадался я, хватая лопату. Ночью мы перестарались, насыпали высоко землю — не учли, что наша машина с пушкой стоит на небольшом бугре.

Но едва мы, пригибая головы, принялись расталкивать землю, как свистнуло, грохнуло, и Егоров, скорчившись, повалился на снарядные ящики.

— Гранаты к бою! — крикнул лейтенант и с силой швырнул гранату в танк, целя в башню.

Звон, дым, визг осколков. Лаврентий, сжав зубы, руками, плечами и головой расталкивал землю и камни у бруствера.

— Вижу! — завопил Толя. — Огонь!

Когда он крикнул «огонь», я успел заметить вспышку выстрела у башни подбитого «тигра», и в тот же миг оглушительно треснуло. Меня швырнуло на кабину «ЯЗа». Мне показалось, что разлетелась наша пушка. Снаряд «тигра» разорвался с левой стороны орудия. Там, где Кротов крутил штурвал угла возвышения, у орудийной тумбы корчилось в конвульсиях что-то страшное чёрно-красное, мокрое...

Отброшенный взрывом, лежал под казёнником заряжающий с развороченной грудью. Кабину «ЯЗа» словно окатили из ведра кровью. Крышу снесло.

Стараясь не смотреть себе под ноги, я встал на место Кротова, а Нистратыч бросился со снарядом к казённику.

— Горит! Подбили! — кричал Лаврентий.

Да, наш заряжающий успел дёрнуть за спусковую лапку, и «тигр» горел. Очевидно, и танк, и наше орудие выстрелили одновременно.

Справа полз второй танк. Он на мгновение повернулся боком, и тотчас другие орудия батареи дали по нему залп. Удар был так силён, что многотонную громаду завалило набок. «Тигр» пылал костром.Туман растаял. Потеряв три машины, немцы прервали атаку. Танки встали полукругом и начали интенсивный обстрел батареи. У башен беспрерывно сверкали вспышки, свистели осколки. Но немцам, как и нам, мешал вести прицельный огонь дым горящих «тигров».

— Отступают, гады! — послышался голос Ляпунова.

Да, танки, опасаясь подставлять бока, начали пятиться за бугор, и там, развернувшись, уходили.

Наступило затишье. Оглушённые, грязные, мы несколько минут механически двигались возле пушки, механически счищали с автомашин и ящиков землю. Нистратыча крикнули на третье орудие. Лаврентий с Плясуновым уложили на брезент то, что осталось от Кротова, и унесли в овраг. Рядом положили тела Егорова и заряжающего, накрыли шинелями.

От горящих танков тянуло удушливым дымом с запахом жжёной резины.

— Фашисты жарятся. Запах знакомый, — заметил, как бы невзначай, Лаврентий.

— Теперь нас только четверо, — подытожил Толя и опустился на своё металлическое сиденье. Он был бледен, губы посерели, как у мертвеца. Видимо, гибель троих людей на его глазах потрясла наводчика.

— На третьем орудии полностью весь расчёт... — заметил Ляпунов. Он не произнёс слова «убило». — Прямое попадание! И командира управления...

Приполз старшина с термосом. Но кашу с аппетитом принялся уплетать только Лаврентий. Плясунов похлебал немного и отшвырнул ложку, усиленно задымил цигаркой. Пальцы у него дрожали, в расширенных глазах гнездился страх.

Командиров орудий вызвали на КП, которое расположилось в вырытой в склоне оврага яме.

— Орлы! — воскликнул Нистратыч. — Надо ждать новой танковой атаки. Одной пушки у нас нет, лишились мы и третьей части орудийщиков. Что будем делать?

Нистратов спросил нас, сержантов, так просто, точно был с нами одного звания. Он советовался. Это располагало к откровенности.

— А прибористами разве нельзя пополнить расчёты? — спросил кто-то из сержантов.

Нистратыч нахмурился.

— Из прибористов... — ворчливо повторил он. — Кто из них знает пушку? Никто. Только лишние потери. — Он помолчал, потом повернул голову к комиссару, заметил: — Сколько советовал старшему лейтенанту Шибанову ввести взаимодействие между орудийщиками и прибористами — не послушался.

В конце концов пришли к выводу, что подавать снаряды могут и прибористы. Но вот выдержат ли три оставшиеся орудия натиска танков... У меня мелькнула одна мысль.

— Если нам одну пушку установить в овраге, в засаде, — сказал я. — И немного выше батареи. Тогда сможем бить во фланг танкам, то есть по боковой броне.

Сказал и смутился: мне вдруг показалось, что моё предложение слишком наивное. Наверняка у Нистратыча припасено более интересное. Сейчас бросит своё «мудрец!».

Комбат уставился на меня и крикнул:

— Мудрец!

Кто-то из сержантов фыркнул, но Нистратов был серьёзным.

— Признавайся, сам придумал? — лейтенант, не спуская с меня вспыхнувших глаз, принялся рассуждать: — Допустим, ставим машину с пушкой в овраг, как предлагаешь. Прицельная труба наводчика будет выше глубины оврага, что нам и надо. Танки двинутся на две оставшиеся пушки батареи.

Орудие из оврага открывает огонь. Если «тигры» повернут на это орудие, они подставят бока под огонь батареи.

Лейтенант с минуту молчал, видимо, обмозговывал моё предложение, потом решительно скомандовал:

— Ставь своё орудие в овраг, Софонов! Быстро!

— Есть ставить в овраг!

* * *

Орудие мы установили в нескольких метрах от блиндажа узла связи, в котором я коротал ночь. С сиденья наводчика хорошо просматривались луг и дорога с подбитыми танками, кусты тальника, которые тянулись до переднего края. Оттуда, то затихая, то разгораясь, доносилась стрельба.

Солнце поднялось уже довольно высоко, когда от комбата прибежал связист и сообщил, что немецкие танки пересекли передний край. Наша пехота отсекла фашистскую пехоту.

Я встал на место заряжающего, Плясунова поставил к штурвалу угла возвышения. В обязанности шофёра «ЯЗа» вменялось подносить снаряды.

Обитатели оврага тоже приготовились к отражению танковой атаки. Связисты и сапёры залегли вдоль склона с гранатами. Здесь же находились бойцы нашего приборного отделения во главе с комиссаром.

— Танки! Вижу! — коротко бросил Толя, не отрываясь от прицельной трубы.

Гул нарастал. «Тигры» шли клином, насколько позволяло это делать пространство между оврагом и болотом.

У меня мелькнула мысль пропустить первый танк. Мы подобьём второй или третий. Лучше третий танк. Он загородит

путь к отступлению двум первым. На дороге возникнет пробка. Но я ничего не успел сказать Толе. Он протяжно крикнул:

— О-огонь!

Подчиняясь команде, я инстинктивно дернул за лапку спуска. И здесь совершил новую ошибку: на какое-то мгновение задержал руку на рукоятке. Откатившимся стволом меня швырнуло на пол кузова «ЯЗа». А Толя опять уже кричал «Огонь!».

Вскочить и загнать снаряд в казённик ствола — дело нескольких секунд. Но выстрелить не пришлось — в край оврага ударил снаряд, и нас воздушной волной, как перышки, сдуло с платформы. Шофёра контузило.

Когда мы очутились опять у пушки, то я увидел, что головной танк горит. Значит, Толя целил в него. А два следующих за ним танка развернулись и поползли прямо на наше орудие.

«Что же батарея? Что там медлят? — пронеслись у меня мысли. — Ведь эти „тигры“ сейчас обращены к ней боком!»

Словно в ответ на них один из «тигров» буквально утонул в разрывах. Густой чёрный дым повалил из его утробы. Но третий танк продолжал двигаться на нас. Из-за дыма наводчики на батарее его не видели. Из оврага, кажется, наш комиссар швырнул в него одну за другой две гранаты, но вреда они ему не причинили. Всё яснее проступала приземистая фигура танка с жирным крестом на лобовой броне. Вспомнился фильм «Александр Невский». Там у рыцарей на шлемах были кресты-прорезы, сквозь которые они смотрели на своих противников.

Но вот возле танка заплясали султаны разрывов — батарея нащупывала его.

— Целься лучше в гусеницы! — заорал я что есть мочи на Толю.

Рванул рукоятку, орудие грохнуло. Но «тигр», как ни в чём не бывало, приближался.

— Плясунов! Куда?! — это кричал Толя.

Трубочный, втянув круглую голову в плечи, крался к краю кузова. Он удирал. Он не опустил ствол орудия, и наш снаряд пролетел над «тигром». Я успел схватить Плясунова за ремень, даже пнул под широкий зад. В следующий миг оглушительно ахнуло, что-то чёрное и острое ударило меня в лицо, словно поленом хлобыстнуло по левой руке.

Открыв глаза, я увидел над собой чумазые и потные лица Толи и Лаврентия. Я лежал возле кустов метрах в десяти от орудия. Ребята что-то делали с моей левой рукой. Рвущая боль захватила дыхание, мутила мозг.

— Что? Что с рукой? — прохрипел я, выплюнув землю, и попытался подняться.

— Лежи! — строго приказал Толя. — Ранило тебя. И не шевелись! Иначе кровотечение усилится.

— Отвоевался, сержант! — констатировал Ляпунов и заметил: — В тыл поедешь!

Оба они о чём-то вполголоса поспорили и повернули меня на правый бок, затем помчались снова к пушке.

«А где Плясунов? Где танки?» Я чуть-чуть приподнял голову и заметил в нескольких шагах от себя в траве неподвижно торчащие в разные стороны носки ботинок. Если бы не этот трус, мы бы наверняка подбили танк. Я перевёл взгляд на пушку и понял, что она отстрелялась — накатник был разворочен, по стволу зелёной слизью стекала тормозная жидкость. Из-за края оврага чёрной пеленой плыл дым. Видимо, третий танк комиссар с прибористами сумели добить гранатами.

Послышалась яростная стрельба, хлопки ПТР*, разрывы гранат. «Тигры» вновь пошли в атаку. Я увидел, как Толя и Лаврентий заметались возле орудия. Чего они задумали? Ведь стрелять нельзя. Толя это отлично знает. От силы отката ствол слетит с направляющих полозков и может покалечить заряжающего.

Мизонов вдруг скрылся за пушкой — уселся на своё сиденье, а Лаврентий, послав в казённик снаряд, опустил ствол и взялся за спуск. Донесся рокот приближающегося «тигра».

И тут я разгадал замысел ребят: они хотят подпустить «тигр» поближе и дать по нему последний выстрел. Это будет именно последний выстрел, ибо он окончательно разрушит пушку.

Над краем оврага появился ствол танкового орудия с надульным тормозом. Он медленно поворачивался в сторону нашего «ЯЗа». Лаврентий резко рванул рукоятку и свалился на пустые ящики. Сноп огня, грохот. Танковый ствол мгновенно укоротился. Снаряд нашей пушки попал под основание орудия «тигра». Но ствол зенитки, вывернув проушины накатника и тормоза отката, рухнул девятисоткилограммовой массой на дощаной пол кузова «ЯЗа», продавил его.

А где же ребята — Лаврентий и Толя? Живы ли? Сжав зубы, преодолевая головокружение, я начал подниматься. Но боль, замутив свет, швырнула на колючую траву. В ушах, пожирая все звуки, нарастал странный звон. Последнее, что успел увидеть — это снижающиеся наши штурмовики. С их широких плоскостей срывались реактивные снаряды. Земля подо мной задрожала.

———

* Противотанковое ружьё Рукавишникова.

* * *

Меня долго везли в душном и пыльном кузове санитарной автомашины. Выл надсадно мотор, вскрикивали и стонали на ухабах раненые.

Солдат-узбек умолял тонким, обессиленным голосом:

— Систра, пить! Пить! Систра!

— Потерпи, миленький! Скоро приедем! — отвечал грудной голос.

У узбека был разворочен живот, и пить ему нельзя.

Иногда все звуки куда-то проваливались, исчезали. И снова: «Систра, пить! Пить!»

Потом я очутился в огромной, как дом, палатке с брезентовыми рамами.

Меня положили на клеёнчатый стол. Оранжевое заходящее солнце играло на стеклах очков человека в белой маске. Он внимательно смотрел на меня, что-то диктовал сестре за столиком.

— Шок! Но ждать больше нельзя, — сказал он. — Противостолбнячную сыворотку ввели? Определили группу крови?

«Шок! Шок! От кого я слышал это слово? Ах, да, это там, у разбомблённой землянки». Мысли ползли лениво, точно масло. Знобило.

Стол окружили люди в халатах и масках. Они что-то делали с моим телом. Боли я не чувствовал, звуки доходили приглушённо, точно я лежал под стеклянным колпаком. Наконец меня опять положили на носилки.

Там, где должна быть левая рука, была пустота.

— В шоковую! — распорядился человек в очках. — К ногам грелки и дать горячего чаю!

* * *

И вот я в шоковой палатке. Сколько прошло дней? Один? Два? Три? Не знаю. В палатке просторно — всего шесть коек, половина из которых пустует. В плексигласовые окна глядится пасмурное утро, по брезентовой крыше шуршит дождь.

Возле полотняной стены лежит пышноволосый офицер с серыми щеками. Он сосредоточенно разглядывает потолок и изредка сипит:

— Сестра! Сестра!

Но круглолицая и бедрастая сестра не слышит. Она сидит на столе и беседует с полуседым артиллерийским майором, который зашёл в палатку перевязать руку. Майор пьёт из жестяной кружки чай. Он пристроился на чурбаке у ног сестры, раненая рука покоится на бедре девушки, пальцы осторожно поглаживают его.

— А знаете, до войны было танго «Утомлённое солнце нежно с морем прощалось», — счастливо рдея, восторженно говорит девушка. — Это мое любимое танго!

Я не выдерживаю.

— Ты что! — ору я, прибавив длинную непечатную фразу. — Не слышишь, что тебя человек зовёт?

Майор надевает фуражку и исчезает, медсестра, покачивая бёдрами, плывет к койке пышноволосового, стоит над его неподвижным телом несколько секунд, и, закрыв с головой одеялом, выходит из палатки.

— Всё. Отмучился человек, — заключает лежащий рядом со мной плечистый старшина с перебитыми ногами.

— Мы тоже скоро отмучаемся.

— Ты-то нет! — убеждённо говорит старшина. — Вон как

завернул лихо. Мне аж завидно стало. Шок, значит, прошёл. А стосковались девки по мужикам, как я ни посмотрю. Майору, считай, под пятьдесят, а сестричке не больше двадцати. А ведь довольнёшенька, что он хоть ей задницу погладил.

Из прифронтового госпиталя меня переводят в санбат. Он в густом еловом лесу. Такая же вместительная брезентовая палатка, двухъярусные нары. Посреди прохода железная бочка-печка и дощатый столик.

Я много сплю, и просыпаюсь только когда будят на перевязку или на обед. Мне снятся одни и те же сны. То я вижу себя у пушки. Витька Шибанов фальцетом кричит: «Не уберегли орудие, сержант Софонов. Под суд пойдёте!» То вижу Волгу, жаркий плёс и себя плывущим по зелёным волнам. С обеими руками. Иногда я начинаю ощущать пальцы обрезанной руки. Они сжаты в кулак, и я пытаюсь разжать их.

Однажды после обеда меня растолкал сосед по койке. В палатке царило возбуждение. На столике стояла коробка радиопродуктора, возле него с проводами возился политрук санбата. Послышался хрип, голос Левитана торжественно объявил «Приказ Верховного главнокомандующего»... Диктор сообщил, что от гитлеровских захватчиков освобождены Орёл и Белгород, что отличились такие и такие-то войска, что столица нашей Родины — Москва будет салютовать в ознаменование победы.

Палатка радостно загомонила.

— Нашу часть не забыли!

— И наша, славяне, есть!

— Сейчас после освобождения каждого города Москва будет салютовать, товарищ политрук?

Вечером в палатку зашли трое. Двое — в пилотках, третий — в фуражке.

— Сержант Софонов? Вон у входа лежит, — показала медсестра.

Я узнал Толю, Лаврентия и лейтенанта Нистратова.

Они уселись возле меня и с преувеличенным восторгом зашумели:

— Вон он, мудрец, куда запрятался!

— Еле отыскали вас, товарищ сержант.

— Километров пятнадцать пешком протопали.

Я смотрел на них — загоревших, здоровых, весёлых, и ничего не мог ответить — в горле пух комок. Они это заметили, неловко замолчали. Потом Нистратыч положил свою руку мне на грудь и строго сказал:

— Расстраиваться не будем! Мой дядя — столяр. С одной левой рукой — слышишь? — с одной левой рукой такие шкафы, комоды делает — закачаешься! У тебя правая рука цела, за плечами десятилетка! И плавать научишься!

— Что с батареей? — спросил я.

Комбат помрачнел:

— Половины её не существует. Но «тигры» не прошли! На нашем счету семь танков.

— Три подбило наше орудие, — перебил Толя.

— Товарищ лейтенант, весь наш расчёт представили к орденам, — улыбнулся Лаврентий и покосился на Нистратыча.

От друзей я узнал, что батарею вновь оттянули во второй эшелон и будут пополнять. Толя Мизонов назначен командиром ещё не существующего орудия, а Лаврентий — наводчиком. Шибанов не командовал батареей во время отражения

танковой атаки, сидел в штабе, но начальство диврайона тоже представило его к награде за подбитые «тигры» — на этом настоял подполковник с отеческой улыбкой.

— Везёт же людям! — вздохнул Толя.

Нистратыч насупился и отвёл взгляд в сторону.

Они начали прощаться, и горький комок вновь запершил в горле. Лаврентий долго растроганно тряс руку, а затем выскочил в дверь. У Толи влажно заблестели глаза, он быстро наклонился и поцеловал меня. Сентиментальный парень, ничего не скажешь. А лейтенант Нистратов, милый и строгий Нистратыч, долго смотрел на меня своими командирскими глазами, наконец сказал:

— Мужайся, Яша! (Первый раз я услышал своё имя из его уст). У тебя вся жизнь впереди. Будь таким на гражданке, каким был в армии. Гни ту же линию, что и гнул раньше! Я о тебе всё знаю. Ну, прощай. Вряд ли ещё встретимся. А может... В общем, прощай!

Глава 18

Есть какая-то влекущая сила у родных мест. Вы можете прожить долгие годы на чужбине, но никогда не забудете ни приземистого домика, где родились, ни сучковатой яблони, о которую изодрали не одни штаны, ни лужу, по которой было так славно шлёпать босиком после июльского дождя.

Обстоятельства сложились так, что в течение двадцати лет после ранения я не удосужился побывать в Средневолжске. Полтора года провалялся по госпиталям, а когда выписался, то ехать было некуда: у меня не было ни отца, ни матери.

Братишка Волька, окончив ремесленное училище, колесил по Украине, восстанавливая разрушенные войной города.

Мама в госпиталь мне писала, что прихварывает, но просила не беспокоиться, а поскорее выздоравливать и бить ненавистного врага. Она очень гордится, что меня наградили орденом. Отец, узнав о высокой награде, даже заплакал от радости. Он стал очень слезливым — старость. Недавно их, стариков, опять мобилизовали на трудовой фронт что-то строить, а на дворе осень, у отца пухнут ноги от холода и недоедания.

Я маме, конечно, не писал, что остался без руки. Просто ранен. Но время шло, мама начала беспокоиться, почему так долго не заживает рана. Высказала желание поехать в Сибирь навестить меня в госпитале. Пришлось спешно отговаривать её от этого шага и сочинять, что рука почти зажила, не сегодня-завтра выпишут из госпиталя, а пока нахожусь в команде выздоравливающих.

Мама не знала, что у меня начался сепсис — заражение крови, что культю мне ещё более укоротили, что два раза находился на краю смерти. А я, в свою очередь, не подозревал, что мама очень больна и что она специально не сообщает об этом, не желая меня расстраивать, мешать выздоровлению.

Потом, когда действительно всё было позади, я начал постепенно готовить маму. Написал, что хотя руку мне вылечили, но она плохо действует. Ответа не дождался. Написал ещё и еще — молчание. Точно наш городок перестал существовать, исчез с лица земли.

Меня перевели в другой госпиталь, я сообщил маме его новый номер. В ответ пришло письмо. Незнакомая женщина писала, что ни моей матери, ни отца нет в живых. Она живёт в нашем доме, у неё скопилась пачка моих писем. Она бы давно

обо всём написала, но я не указывал номера госпиталей. А вот сейчас имеет возможность обо всём рассказать. В наш дом её семью поселил горсовет, а вещи, которых осталось очень мало, лежат в чулане и ждут меня. Далее следовало подробное перечисление. В списке значились яловые сапоги, плюшевый жакет, чугуны, табуретки и тому подобное.

Я долго сидел неподвижно. Из письма я понял одно — мамы нет больше на свете. Мама умерла! Умерла мама! Скончалась! Её тело закопали! К чему мне какой-то жакет, сапоги, табуретки? Нет мамы! Так, скрывая один от другого истину, мы навсегда потеряли друг друга. В тот день я ничего не ел, не пил, молча лежал, отвернувшись лицом к стене. Никогда не чувствовал себя таким одиноким!

Мой сосед по койке, широколобый украинец без ноги, забеспокоился. Решил, что я заболел. Но прочёл брошенное на тумбочку письмо, грустно присвистнул:

— Не журись, хлопче! А сколько людей вмерло в эту бойню! Ой-ой-ой! Что поделаешь? У меня жинки нема. Сыну нема, дочки нема. Усих германец проклятый убив!

— Как же я буду жить, куда денусь? — воскликнул я.

— Ох ты! Ребёночек! Двадцать два года! Свет не без добрых людей! Не пропадёшь!

Свет не без добрых людей... Впоследствии я много раз вспоминал эту фразу.

Я дал зарок, что никогда не появлюсь в Средневолжске. Для чего? Ловить на себе соболезнующие взгляды знакомых, слышать слова сочувствия?! Волька мне писал, что кладбища, на которых похоронены наши родители, не существуют. На их месте разбиты парки. Значит, нет и дорогих могил.

И всё-таки я еду в Средневолжск. В город моего детства и юности. Тяга родных мест оказалась сильнее, и ничего с нею нельзя поделать.

Было самое начало июля. Купив в Горьком билет в каюту первого класса, я целые часы проводил на палубе. Горький дымил трубами, перекликался пароходными гудками. Над Волгой метались с пронзительными криками чайки. На крутояре, как много лет назад, маячил памятник Чкалову.

Я жадно вглядывался в берег, стараясь найти то место, где стояла наша курсантская батарея — нет, не нашёл. Везде сверкали стёклами громады жилых домов, расстилались газоны, кудрявились бульвары. Поискал глазами склады, у которых стоял часовым в ту тяжёлую осень — и тоже не обнаружил. Девушка та черноглазая, наверно, замужем и дети есть. Рассказала хоть им, как выволок её из ледяной воды парень с трёхцветными петлицами на гимнастёрке?

Чем дальше шёл пароход, тем больше воспоминаний охватывало меня. Они, как волны, набегая, возрождали в памяти давно забытые лица, эпизоды, детали, подчас совсем пустяковые. Пристань Ильинка. Тотчас вспомнилась июльская ночь с редкими звёздами, шёпот лип, разливы ромашек и голубоглазая буфетчица, которая бежала по верхней палубе, чтобы ещё раз взглянуть на того, кто ей так неуклюже преподнёс цветы.

Сейчас вместо дебаркадера стояла старая баржа, из-за лип виднелись узорчатые карнизы корпусов дома отдыха. Где же та буфетчица? Может, как и наше поколение, закружила её военная метель. Обрезала она свою косу-корону и пошла отшагивать в кирзовых сапогах по фронтовым дорогам с санитарной сумкой через плечо.

У Козловки вспомнился хулиганистый парень с глазами навыкате, а за Казанью — жаркий песчаный плёс, лодка и стоявший в ней человечек, как дергунчик, мерно махающий крохотной кепкой вслед пароходу. Но плёса не увидел — всё пространство занимало Куйбышевское море.

— Какая красотища! — восторгалась возле меня, облокотившись о перила, парочка в туристской одежде.

Я покосился на парочку, заправив пустой рукав в карман пиджака. Если откровенно говорить, с возникновением искусственных морей пропала первозданная краса волжских берегов. Перед глазами одна бескрайняя водная ширь и только на горизонте видна еле различимая зубчатая полоска берега. Малой беспомощной пылинкой чувствуешь себя среди этой стихии.

Пароходное радио объявило название моей пристани. Я уже увязал свой тощий рюкзак, перекинул через плечо, а выходить из каюты не торопился. Прошло двадцать лет, как покинул Средневолжск. Всесильное время изменило лица друзей и знакомых. Увижу ли, узнаю ли Вовку Зылёва, Мишу Шумкова, Люсю Воронову?

Пароход качнуло, послышались голоса команд, топот. Затих шум машин. Волнение так сильно сдавило сердце, что я прислонился к косяку каюты.

Вместе с толпой пассажиров сошёл на берег, и мне показалось, что я приехал в чужой город. Раньше Волга была в пяти километрах от Средневолжска. Сейчас её рыжие волны плещутся рядом с улицами. Широкая асфальтированная набережная с рядами лип и клёнов, пятиэтажные дома с кафе и магазинами, важно плывущие автобусы.

Мои попутчики давно растеклись, пароход, прощально гукнув, отчалил, а я всё не мог сообразить, где нахожусь, в какую сторону идти. Всё озирался по сторонам, надеясь обнаружить знакомый ориентир, разглядывая деловито спешащих прохожих, витрины, в которых отражались жаркое солнце, река. Прошла поливальная машина, и в завесе брызг заиграла радуга.

Да, Средневолжск изменился. Навеки скрылась под волжской водой и извилистая речка Утка, и пятикилометровая дорога, по которой с отцом впервые четверть века назад ехал на тряской телеге, чтобы увидеть могучую реку. Город разросся, превратился в большой порт.

Я углубился в улицу, узнал знакомые здания, побрёл к нашему дому. Увы, дома не было. Ни нашего, ни Шибановского. На их месте возвышался пединститут. Может, жива ещё школа?

На пути повстречался больничный городок. Всё новое, каменное, сверкающее стеклом. А ложок, который мы преодолевали с Люсей в ту далёкую апрельскую ночь, был цел, и мостик через него пролегал.

Красное кирпичное здание школы я узнал сразу. Оно показалось мне низким и каким-то тусклым. Может, оттого, что рядом высились многоэтажные красавцы, а может, просто от старости оно вросло в землю. Мы все стареем, усыхаем, уменьшаемся.

Над крыльцом виднелась чёрно-золотая вывеска «Народный музей». Дверь была открыта. Вон оно что! Значит, в нашей школе музей. Их сейчас много везде открывается. Это хорошо. Прошлое нельзя забывать.

— Гражданин, оставьте сумку!

Я не сразу понял, что это адресуется мне.

Седая женщина в застиранном синем халате, очевидно дежурная, смотрела на меня в упор, строго.

— Извините...

Затолкав рюкзак под её стол, за которым она пила чай, я оглянулся.

— Здесь была раздевалка, а там — учительская, — машинально произнёс я вслух.

Дежурная с удивлением посмотрела на меня, потом улыбнулась:

— Да, здесь была школа. Вы тут учились? И перед самой войной окончили? Вы очень волнуетесь. Присядьте. Я вам разрешаю.

Она вынула из стола пачку «Беломора», раскрыла.

— Спасибо. Не курю.

— А я вот научилась, — продолжала словоохотливая дежурная. — Как мужа и сыновей потеряла в войну, так и начала дым потягивать. Сама не здешняя. С Украины. Но прижилась на Волге. Вы инвалид войны? Я так и подумала. У нас здесь под военную тематику представлен большой зал. Сейчас как раз экскурсия пионеров. Сам директор музея, кандидат исторических наук Виктор Геннадьевич Шибанов, ведёт объяснение.

Виктор Геннадьевич? Неужели! Я шагал по знакомым коридорам второго этажа. Вот он, этот зал. Густой баритон встретил меня на пороге. В окружении голоногой толпы стоял Витька Шибанов.

Я его сразу узнал, хотя он был в очках. Всё так же строен, плечист, всё такая же пышная, волнистая шевелюра, правда уже поседевшая, всё тот же волнистый нос. Отлично сшитый серый летний костюм ладно облегал его фигуру.

Витька скользнул по мне безразличным взглядом и продолжал объяснение. А я принялся рассматривать экспонаты. Время для меня вдруг остановилось. Всё, что было за стенами зала, отдалилось, пропало. Мне не надо было ничего объяснять. Я всё и всех здесь знал. Под золоченой выпуклой надписью «Герои Советского Союза нашего города» висели портреты Вовки Зылёва и Миши-чапаевца.

Вовка повторил подвиг Александра Матросова — закрыв своим телом амбразуру ДОТа! Из-под стекла на меня смотрело до боли знакомое скуластое лицо с остриженной под машинку головой.

А Миша-чапаевец, судя по всему, здравствовал, но сильно постарел. Видимо, отсидев срок за хулиганство, сразу же рванулся на фронт. Без обиды на власть. Да какая может быть обида, если страна в опасности? И вот — золотая Звезда Героя.

Оба они — и Вовка, и Миша-чапаевец — чем-то похожи. Я много встречал подобных людей. На них держится армия, заводы и колхозы. Основная их черта — увлечённость, преданность делу. Это коллективисты и энтузиасты. Надо работать — вкалывают так, что кости трещат, надо колотить врага — бьют, аж перья летят. Не раздумывая, они кидаются с гранатами под танки, бросают на таран самолёты. Этим людям чужда рисовка, к славе они относятся с пренебрежением.

Из-под аншлага «Они штурмовали Берлин» на меня поверх очков смотрели удивительно знакомые глаза. На кителе с майорскими погонами — целый иконостас наград. Минуточку! Ба, да это же Миша Шумков! Наш комсорг! Буквы подписи под портретом запрыгали перед глазами. Я жадно читал, перепрыгивая через строчки. Убит! Миша убит! В самом Берлине. И об

этом я узнал через двадцать лет. Рядом с портретом Шумкова висел аттестат об окончании десяти классов. Одни пятёрки! В витрине под стеклом — ордена и медали, благодарности командования.

Я в растерянности оглянулся. На меня со всех сторон смотрели мальчишки в военной форме. Худошеие, с решительными глазами, рождения 1922, 1923, 1924 и 1925 годов. Многих я знал по школе, по улице.

Высокая мраморная доска висела в простенке. На ней — две длинные колонки фамилий павших на полях Великой Отечественной войны. У подножия мемориальной доски лежали цветы и горела красная лампочка в окружении трепыхающихся под действием вентилятора алых лоскутков — имитация вечного огня. Я вчитывался в фамилии, и забытые лица ребят оживали передо мной. Среди мужских фамилий встречались и женские.

И тут меня ждало новое потрясение. Списки я начал читать почему-то с конца. Хотелось убедиться ещё раз, что Миша убит. Да, его фамилия согласно алфавиту стояла внизу. Но вот дошёл до начала и обомлел. «Л. Воронова». Нет, этого не может быть! Люся погибла? Когда же? Где же её ребёнок?

Я так был озадачен, что не сразу почувствовал на своём плече руку. Вздрогнул и оглянулся.

Передо мной стоял Витька Шибанов и широко улыбался.

— Неужели ты подумал, что я тебя не узнал? Ах, негодник! — гремел он, обнимая меня. — Наконец-то отыскался!

Он замолчал, не переставая улыбаться, и всё смотрел на меня.

В зале мы находились только вдвоем. Пионеры уже ушли.

— Постарел, брат, как и я! — вздохнул Витька. — Время чёрт знает как стремительно бежит. Давно здесь? Только что с парохода? Рассказывай, где ты сейчас, как и что...

Я пожал плечами. Не знал, как и что рассказывать, о чём спрашивать, хотя о многом, очень о многом надо было расспросить Витьку. Витька, видимо, это понял. Взглянув на часы, предложил:

— Вот что: шагаем ко мне. Посидим, молодость вспомним. До вечера я в твоём распоряжении. Дело в том, что сегодня всей семьёй уезжаем в Крым. В отпуск. Едем на «Волге». Жена да сын. У моей матушки — ты ведь её отлично знаешь — там дача. В конце войны она замуж выскочила за офицера. Потом стала генеральшей. Недавно её генерал почил в бозе. И Гортензия Егоровна стала владелицей дачи в Крыму и трёхкомнатной квартиры в столице. Получает солидную пенсию. Умеет баба жить! Не правда ли?

В этом я с ним был абсолютно согласен. Везёт же некоторым женщинам. Вся их заслуга в том, что они — супруги высокопоставленных лиц. Всю жизнь такая женщина может палец о палец не ударить для блага общества. Но пользуется всеми его благами и даже в первую очередь.

Об отце Витька и не заикнулся. Лет пять назад на пути в Кисловодск мне довелось проезжать Ростов. По другую сторону платформы, возле которой остановился наш поезд, тянулся состав с сельскохозяйственной техникой и вагонами, набитыми горластыми ребятами и девчатами. Вдоль эшелона прохаживался сутулый и чёрный, как грач, мужчина в плаще и с трубкой в зубах. Я выскочил из вагона и обнял его за плечи.

— Геннадий Петрович!

— Погоди! Погоди! — уставился он на меня и даже вынул изо рта трубку. — Сейчас узнаю! Софонов Яша! Так?

Но поговорить толком нам не дали: плечистые парни в резиновых сапогах то и дело подбегали к Геннадию Петровичу за указаниями и с вопросами.

Мой вагон тронулся, Геннадий Петрович прошёлся несколько метров рядом с площадкой, прокричал сквозь нарастающий перестук колёс:

— Целину едем осваивать! Кто-то же должен это дело делать. Молодёжью командовать. Вот и напросился! — он благодушно улыбнулся.

Кто-то же должен... Как знакома мне эта фраза! Геннадий Петрович в 1930-х годах навсегда распрощался с Москвой — кто-то же должен руководить освоением техники в МТС, в послевоенные годы восстанавливал шахты Донбасса — кто-то же должен позаботиться об увеличении добычи угля... И вот целинные земли...

...Мы с Витькой миновали несколько залов, бывших классов, соединённых сейчас для удобства посетителей музея, проходом, и очутились в бывшей пионерской комнате, из которой дверь вела в коридор. И в этой комнате я увидел портрет Сергея Ивановича. Я даже замедлил шаги от удивления.

— Неплохим краеведом был наш Сергей Иванович, — спокойно заметил Шибанов мимоходом. — Он реабилитирован. Здесь представлены кое-какие материалы и документы, собранные им по истории революционного движения в Поволжье.

«А может, зря я тогда Витьку трахнул», — подумалось мне.

На улице жарило солнце. Витька жил на самой набережной в крупноблочном доме на втором этаже. На первом этаже сияло огромными зеркальными стёклами кафе под модным названием «Волжанка».

По дороге Шибанов болтал не умолкая. Он рассказал, сколько сейчас жителей в Средневолжске, какие появились предприятия и учебные заведения, в общем — постарался показать всю эрудицию старожила.

Мы поднялись по гулкой прохладной лестнице. На звонок дверь открыла невысокая полногрудая женщина лет тридцати с тряпкой в руке.

— Знакомься, Марина: друг моей юности Яша Софонов. Средневолжск покинул ровно двадцать лет назад.

Грудастая Марина, не подавая руки, сухо кивнула, пробормотала:

— Проходите, пожалуйста, — и удалилась в соседнюю комнату, независимо подрагивая широкими бёдрами, всем своим видом показывая, что гость заявился весьма некстати. Я это моментально понял и, извинившись, постарался бы откланяться. Но мне так хотелось узнать от Витьки о Мише и Люсе...

— Прости, Яша. Сам понимаешь: собираемся в путь-дорогу. В квартире бардак. Я сейчас переоденусь, а ты пройди на балкон, полюбуйся нашей матушкой Волгой.

Я на балконе. Внизу шелестят зацветающие липы, трепыхает резными зубцами полосатый тент над окнами кафе. Из-за реки ветер несёт запахи смолы, мокрого дерева и лугового разнотравья. Какие знакомые, но позабытые запахи далёкого детства!

Из комнаты через открытую балконную дверь доносится равномерное шлёпанье. Это неприветливая Марина скатывает на полу в рулоны ковры. Потом она куда-то вышла.

Мне одного взгляда было достаточно, чтобы определить, что Витькина жена относится к породе «курочек».

Это, как правило, кукольно миловидные женщины с застывшим выражением самодовольства и гордого достоинства на лице. У «курочек» никогда не бывает больше одного ребёнка, так как беременность портит фигуру, старит, да вообще чем больше детей, тем больше забот. «Курочек» не встретишь среди токарей, штукатуров или доярок. Этот тип женщин никогда не войдёт в горящую квартиру, чтобы спасти ребёнка, не даст крова умирающему больному.

Замуж «курочка» старается выйти за мужчину солидного и с положением. Круг её знакомых всегда один и тот же — портнихи, врачи, завмаги и парикмахеры. Отпуск «курочки» всегда берут летом и непременно едут на юг. Одному аллаху известно, каким образом они достают ежегодно путёвки на курорты, где лечат не существующие в их теле болезни.

Весь смысл жизни «курочки» заключается в стремлении не отстать «от людей». Они заложат чёрту душу за новый телевизор или сверхмодный торшер, и завистливые вздохи подруг для них звучат сладчайшей музыкой.

Стариков-родителей «курочки» не признают. И может показаться, что эти женщины появились на свет вообще без отца и матери.

Совместная жизнь с немощным свёкром или свекровью всегда воспринимается «курочками» как наказание судьбы. А смерть этих стариков бывает для них радостным событием. Но так как старики сейчас живут довольно долго, то «курочки» стараются их отфутболить к мужниной родне. А если таковой нет, то сплавить в дом престарелых.

Случись с мужем несчастье — «курочка» не раздумывая покидает его. Ей надо наслаждаться жизнью.

Витька предстал передо мной в светлых джинсах, в рубашке с короткими рукавами, испещрённой изображением пальм и обезьян. На его волнистом носу красовались светозащитные зеркальные очки, в которых отражалась моя удивлённая физиономия.

— Идём, Яша, в кафе! — он вновь дружески положил руку на моё плечо. — Там сейчас малолюдно. Обо всём побеседуем. Марина просила тебя нас извинить.

И вот мы с Шибановым сидим в кафе за маленьким столиком. Над головой бесшумно месит воздух огромными лопастями вентилятор, за стеклом-стеной, нежась на солнце чешуёй, вздыхает река. Солнечные зайчики от воды мельтешат по стене, облицованной глазированной узорчатой керамикой, играют на бутылке армянского коньяка, который официантка, повинуясь тайному Витькиному знаку, проворно поставила на стол, присовокупив ещё пару запотевших бутылок боржоми.

Шибанов рассказывает о семье, о том, как легко защитил диссертацию на местную тему.

— Вероятно, о революционном движении в Поволжье, — заметил я.

Витька на несколько секунд смолкает, отхлёбывает из стакана боржоми. Пузырьки серебристой стайкой срываются со стекла и лопаются.

— Ты угадал! Это сейчас актуальная тема. И модная.

— Разумеется, использовал материалы Сергея Ивановича.

Шибанов криво усмехнулся, укоризненно качнул пышной шевелюрой.

— Ты всё такой же, Яков! Колючий! Если тебе угодно, то да, кое-что взял. Я отлично понимаю твой намёк и откровенно и честно признаюсь: на моей совести два пятна. Первое — это заявление на литератора...

Что угодно ожидал я услышать от Витьки, но только не это. Почему-то все годы, когда мне доводилось листать страницы памяти, я не был уверен, что донос — дело рук Шибанова. Втайне укорял себя, что не сдержался, затеял драку, которая так круто отразится на моей судьбе. Мало ли что мне могло показаться тогда под действием маминого письма.

Витька закурил, а я не знал, о чём дальше говорить. Я даже избегал смотреть на Шибанова. Мне стало грустно и чего-то бесконечно жаль.

Шибанов продолжать витийствовать:

— Я не хочу оправдываться. Все мы тогда были сверхбдительными. Сыновья, не задумываясь, отказывались от своих отцов, когда их объявляли врагами народа. Безусловно, были перегибы и досадные ошибки. Что поделаешь? Не ошибается тот, кто ничего не делает. Но, на мой взгляд, репрессии в какой-то степени сыграли положительную роль. Они заставляли нас быть более подтянутыми, более собранными.

«Положим, далеко не все отказывались от своих отцов», — хотел я возразить, но вместо этого сказал:

— Слушая тебя, я вспомнил Ваню Саяка. Есть у нас в посёлке такой тип. Пьяница и придурок. Сгорел у Вани домишко. Соседи ему сочувствуют, а Ваня рассуждает: «Конечно, хорошо, когда собственная крыша над головой. Но, с другой стороны, без дома даже лучше — ремонт не делать, снег не огребать, страховку не платить». Жена с дочерью от Вани сбежала.

Соседи негодуют, а у Саяка своя точка зрения: «Хорошо, братцы, без жены и детей. Правда, они обеды готовили и стирали, но зато сейчас меня никто не пилит, сам себе господин». По пьянке Ваня попал под поезд и остался без ног. Люди его жалеют, но Ваня не унывает: «Валенки мне теперь не нужны, в мороз и жару в ботинках хожу. Да и собаки не страшны. Цап за ноги, а там протезы».

Шибанов ничего не ответил. Выпустил колечко дыма и долго следил за ним, пока оно не растаяло.

— Зачем же ты тогда припёрся к Шумковым писать в Москву письмо?

— Спохватился, Яша, что глупость сотворил. Чего греха таить. Что было, то было. Ходил даже в НКВД, хотел обратно взять заявление. Какое там!..

В кафе от солнца стало душно, не спасали ни тенты, ни вентиляторы со своими вертолётными лопастями.

— Расскажи о своей жизни, — попросил Шибанов, гася папиросу о край пепельницы.

Пересиливая апатию, я кратко поведал, где живу, чем занимаюсь.

— Прости меня, Яков, за откровенность и, может, излишнюю прямоту, но ты примитив. Только не обижайся, — заговорил Витька, отхлёбывая боржоми. — С твоей энергией можно горы своротить. Но только она расходовалась чаще не по назначению. Это я тебе по старой дружбе скажу. На кой чёрт тогда затеял драку! А ведь всё могло быть иначе. Выпустили бы тебя лейтенантом, направили бы в какую-нибудь тыловую зенитную часть к бабам. И рука бы была на месте. Из нашей училищной батареи почти всех ребят разбросали по тыловым

объектам. Пашу Кожухова помнишь? Мост в тылу всю войну охранял, четырёх девок своей батареи брюхатыми сделал.

Меня покоробил этот дружеский цинизм Шибанова. Но Витька ничего не заметил. Он продолжал краснобайствовать:

— Ты, я вижу, жизнь воспринимаешь такой, какой нам представляют её радио, газеты и книги. Показывают они, конечно, правильно. В оптимистической окраске, в положительном аспекте. Молодое поколение надо воспитывать на лучших примерах. Но ты забываешь, что жизнь, как медаль, имеет оборотную сторону. Вон взгляни на табличку, что висит над головой буфетчицы: «Наше кафе борется за звание коллектива коммунистического труда». Ничего они не борются! Как пять лет по блату коньяк отпускали, так и сейчас это делают. Вон эту рыжую буфетчицу видишь? Она необычайно ловко обсчитывает пьяниц. Пока мы с тобой здесь сидим, уже троих объегорила. Я наблюдал. Чихала она на всякие звания и почётные грамоты, если всё это не подкреплено рублём.

Шибанов мне живо напомнил нашего бывшего председателя завкома. Я пришёл к нему на приём. Дверь кабинета была полуоткрыта, председатель разговаривал по телефону с предцехкомом. Он распекал его за то, что в цехе мало ударников коммунистического труда. У соседнего цеха их в два раза больше.

Собеседник предзавкома, видимо, сослался, что нет пока достойных людей. Но профсоюзного деятеля это не устраивало: «Ты мне цифиру, цифиру давай! — надрывался он в трубке. — Ты мне отчёт не порть!»

— Следуя твоей аналогии, получается, что глупцы гнали фашистов от Москвы и до Берлина. В братских могилах лежат примитивы, то есть те, кто не сумел отвертеться от фронта. Так?

Витька скрылся за облаком дыма новой сигареты, как за дымовой завесой, укоризненно качнул головой:

— К чему такие обобщения? У нас речь идёт конкретно о твоей судьбе. В перспективе у тебя намечалось неплохое будущее.

— А знаешь, я нисколько не жалею, что всё так получилось!

Шибанов улыбнулся с профессорским видом, снисходительно заметил:

— Всё такой же ершистый! Но, извини меня, я не поверю! У тебя это всё напускное. Ни один инвалид не скажет, что рад потере руки или ноги.

Вновь скука и пустота охватила меня. Я понял, что мы говорим на разных языках и никогда не поймём друг друга. И Витька это понял и замолчал. Выражение глаз Шибанова мне мешали видеть его зеркальные очки. Специально, видимо, их нацепил.

— Между прочим, твой отец чихал тоже на сверкающие личные перспективы и шёл туда, куда считал нужным для партии. А какой способный инженер!

— Вот тут я с тобой абсолютно согласен. Учёным ведь мог быть. Обладал исследовательской жилкой. А сейчас где-то в Сибири газопровод прокладывает, комаров кормит.

Раздались брякающие звуки джаза. К нашему столику с транзистором через плечо подошёл долговязый, худосочный юнец в шортах. Крутя на пальце ключ от зажигания, наклонился к Витьке, что-то вполголоса сказал. Витька посмотрел на часы, кивнул.

— Сын, — пояснил он, когда паренёк удалился. — Через час выезжаем. Надо успеть проскочить тут одно место: дождь надвигается. А дальше асфальт. Не страшно.

Солнце скрылось за тучей, которая, синея низом, медленно выползала из-за Волги. Вода в реке зарябила сильнее. Рванул ветер. Где-то громыхнуло, звякнула рама. Шибанов забеспокоился.

— А какое второе пятно на твоей совести? — вспомнил я.

— Люся, — ответил Витька. — Глупо всё как-то получилось. Пустяковая ссора. Я потом ей писал — она ни гу-гу. Дочь её здесь. У старухи Шумковой живёт в качестве внучки. Самого старика давно уже нет в живых.

От этого сообщения я даже вздрогнул. Значит, у Люси дочь! Жива тётя Дуся — мать Миши! Я должен её непременно повидать.

Простились мы с Шибановым довольно сухо, и было заметно, что он рад расстаться со мной, как и я с ним. Не оглядываясь, Витька торопливо зашагал в своих импортных босоножках к подъезду и всё косился на тучу, подёргивая, как кролик, волнистым носом.

Тугие капли торопливо захлопали по тентам, по горячему асфальту, по листьям лип. Сверкнуло, грохнуло, хлынул ливень. Я моментально забыл о Витьке, о нашей беседе, с нетерпением ожидая конца ливня. Он прекратился так же быстро, как и начался. Водяные потоки вдоль кромки тротуара иссякли, проглянуло солнце. Из подъездов домов и магазинов выскакивали застигнутые дождём прохожие. Глянцевито сверкала листва деревьев. Дышалось легко и свободно.

Глава 19

Мишин домик я узнал издали, по кружевным наличникам и веранде. Деревянные кружева любовно выпиливал старик Шумков. От времени они почернели, кое-где выщербились. Крыша покрылась мхом, крыльцо покосилось.

Со стороны усадьбы на дом наступали пятиэтажные корпуса жилого массива. И по всему было видно, что существовать ему осталось недолго.

Тётю Дусю, Мишину мать, я узнал по глазам. Передо мной стояла старушка в выцветшей кофте и, щурясь от солнца, вопросительно смотрела сквозь очки Мишиными глазами. Она поседела, высохла и согнулась.

Я назвал себя. Тётя Дуся не выразила ни удивления, ни радости. Она слабо кивнула головой, приглашая следовать в дом. И пошла впереди, постукивая костыликом.

Есть люди, которые могут до конца своих дней носить горе в себе. Время здесь бессильно. И никакие потрясения уже не в силах всколыхнуть их душу, ибо они испытали самое тяжёлое, что выпало им на долю.

Старушка провела меня прямо в комнату Миши. И когда я перешагнул её порог, мне на миг показалось, что я шагнул в свою юность. Не было тех двадцати лет, что пролетели за это время, не было войны. Ничего не было!

Я увидел всё тот же самодельный столик, прибитый прямо к стене, самодельную полку, на которой лежали гантели. Впрочем, нет. Веяние времени всё же проникло. Вместо репродукции, на которой был изображён товарищ Сталин в окружении упитанных колхозниц, красовался портрет улыбающегося Юрия Гагарина.

Кровать в комнате тоже была не та. В довоенное время кровати с панцирными сетками не выпускали. И покрыта она была не спартанским серым одеялом, а белым пикейным

покрывалом, заправлена белоснежными подушками и явно принадлежала юной девушке. Дочери Люси. Где же она и как её зовут? Витька даже не счёл нужным сообщить мне об этом.

Для начала я спросил у тёти Дуси, где погиб Миша, хотя я уже знал. Морщинистое лицо старушки не изменилось. Она приподняла белёсые брови, провела пальцами по губам, собирая их в гармошку, вздохнула, и не торопясь, как о давно отболевшем, с раздумчивым спокойствием проговорила:

— В Берлине Миша погиб. Его товарищ из полку письмо тогда присылал. Сказывал, что в метро утонул, когда раненых немецких солдат вытаскивал.

Воцарилось молчание. Сквозь полуоткрытые стеклянные двери веранды из сада лились запахи земли, зацветающей картошки. Тёте Дусе, видимо, больше не о чем было говорить. Голова её качнулась, глаза за очками мигнули раз, другой... Старушка дремала. Жилистые кисти рук с лиловыми венами подрагивали.

— Евдокия Ивановна, — воскликнул я, взглянув на Мишину книжную полку. — У Миши здесь стояла общая тетрадь в клеёнчатой чёрной обложке. Дневник. Помните? Где он?

Старушка уставилась на меня. «Ничего она не помнит, — с сожалением подумал я. — Миша, наверное, взял её с собой на фронт, и там она потерялась. А может, просто уничтожил, не желая доверять никому своих мыслей».

Но тут я заметил в бесцветных глазах тёти Дуси какое-то беспокойство. Она что-то старалась вспомнить и не могла. Она то переводила взгляд на полку, то на меня.

— Чёрная тетрадь? Ага! Была, была!

— Где же она?

Глаза снова забегали с полки на меня и снова на полку.

— Господи! Я совсем запамятовала! Миша мне перед отъездом на фронт поручил эту тетрадь передать Яше Софонову. То есть вам. Если его убьют. Но куда она подевалась — ума не приложу. Про эту тетрадь три года назад ещё Виктор Геннадьевич спрашивал. Ему, сказывал, она для музея нужна.

— Тётя Дуся! — заорал я, обнимая старушку. — Милая! Вспомните! Ну давайте вместе вспоминать!

Старушка беспомощно разводила руками, смущённо улыбалась. А я твёрдо решил не уходить из дома Шумковых, пока не увижу дневника. Буду жить день, два дня, неделю... Перерою весь дом!

— Он когда её вам отдавал? В начале войны?

— Пошто? Миша уже два раза был ранен, контузию имел. Из-за контузии его долго не хотели брать на фронт.

— Значит, весной 1945 года! Он вам тетрадь в руки отдал?

— Нет, старику моему поручил. Так и сказал: если не вернусь — передай Яше Софонову.

Мое нетерпение достигало высшего накала.

— Ваш муж читал дневник?

Мучительные раздумья отразились в глазах тёти Дуси.

— Давно ведь это было, — бормотала она. — Он помер спустя год после Миши. Тихо так помер. Он спал на сундуке. А я с Наткой спала на полатях.

— С какой Наткой? — обмирая, спросил я.

— С внучкой. Вот её кровать. Она сегодня на работе в больнице. Фельдшер.

Вихрь мыслей закрутился в голове. «Натка! Наташа! Наташенька! Натуся! Дочь Люси! Люся назвала девочку в честь

Наташи Ростовой — своей любимой литературной героини».

— Тетрадь он читал перед сном. Зажгёт, бывало, лампу, поставит на стул и читает. Иногда так и заснёт. Шибко любил он Мишу. Горевал. Плакал по ночам втихомолку от меня.

— А тетрадь куда клал? На эту полку?

— Нет. В сундук. Там его пчеловодные и столярные инструменты лежали.

У меня бешено застучало сердце:

— А где сейчас этот сундук?

— Где сундук? — растерянно повторила тётя Дуся. — Не знаю... Мы в доме два раза ремонт делали... Может, он в сарае, может, на чердаке, может, в чулане.

С разрешения Евдокии Ивановны я облазил всю ограду, чердак. Сундук обнаружил в чулане. Он был завален худыми вёдрами и тазами, старыми корзинами и картонными коробками. Сундук проржавел, петли у крышки отлетели.

Чихая от пыли, я извлёк из его недр подшивки газет и журналов, дымарь, пчеловодные сетки, наборы стамесок, ножовку и рубанки. На самом дне обнаружил связку Мишиных учебников и среди них — о радость! — клеёнчатую тетрадь. Я узнал её тотчас. У меня даже рука затряслась от волнения.

И вот я сижу за всё тем же самодельным столиком. Я чувствую, что меня ждёт нечто интересное. На кухне гремит чайником тётя Дуся — хочет меня попотчевать чаем.

Я собираюсь с духом и раскрываю первую страницу.

Вновь я в десятом «Б», хожу на экскурсии, копаю картофель в колхозе, выпускаю стенгазету. Мелькают имена ребят, девчат и преподавателей, которые я уже успел забыть. Бросилась в глаза фраза:

«Зависть — плохое качество. Интересно, будут ли завистливые люди при коммунизме? Я жутко завидую Яше Софонову. Когда мы после выпуска стенгазеты направились домой, Люся подхватила Яшу под руку».

Ага, вот то, чего я не знаю.

«9 сентября 1944 года. Итак, я снова наедине со своим дневником. Почти три года не раскрывал его. За это время столько пережито, столько перевидено, что не хватит на сто общих тетрадей, чтобы описать. На фронте нам запрещали вести дневники. И я, конечно, не мог нарушить запрета. И вот сейчас с полчаса сидел над чистой страницей, не зная с чего начать.

Дома тихо. Отец на работе, мать на кухне осторожно гремит кастрюлями, боясь помешать мне. Чего, интересно, она готовит? Оладьи из соевой муки или суп из свёклы? Ох как плохо питаются люди в тылу. Но не жалуются! Никто! Сегодня по просьбе горкома комсомола был в цехе одного из заводов, которых сейчас много в тылу. Попросили выступить в обеденный перерыв с рассказом о фронтовых делах. Когда выходил из цеха, навстречу попалась вагонетка с полуобгоревшими телами двух девушек. Парторг объяснил, что их нашли на шлаковом отвале. В домах холодно, топить нечем, и вот некоторые рабочие идут после смены спать на горячий шлак. От него идёт газ, и если нет ветра, люди угорают и больше не просыпаются. Отвал огородили, поставили охрану, но помогает плохо.

На фронте мне приходилось видеть и не такое, но тут при виде скрюченных девчушек я почувствовал приближение припадка. Парторг догадался заволочь меня в проходную, а дальше не помню.

Очнулся на деревянном диване с адской болью в затылке. В ногах сидит старуха-вахтёрша и плачет, как по мёртвому.

Такое зло берёт! Наши подошли к границам Германии, шагают по Венгрии и Румынии, а я со здоровыми руками и ногами вынужден без конца штурмовать военкомат. Но меня даже не слушают: инвалид второй группы. Из части приходят письма от друзей-офицеров. Зовут.

В госпитале профессор посоветовал побольше заниматься зарядкой с холодными обтираниями. Механизм контузии, как он выразился, всё ещё недостаточно изучен медициной. Ясно одно — это заболевание центральной нервной системы. Вот я и бегаю по утрам трёхкилометровку, окачиваюсь утром и вечером колодезной водой, растираю тело грубым льняным полотенцем. Закаляю нервную систему. Пока сдвиги небольшие, но есть. Сегодня в лесу меня охватил дикий страх. Он предшествует припадку. Сотни мурашек поползли вдоль позвоночника, кожу на затылке стянуло. Я свалился под берёзой и заставил себя думать о весёлом. Припадка не последовало. Это меня здорово обрадовало.

<u>23 сентября.</u> Сегодня проснулся от плача Натки. Чего-то с мамой не поладили. Вообще-то они живут дружно. Натка такая говорунья, как колокольчик. Бывает, сама с собой беседует. Люся, вырастив её до года, подалась опять на фронт. Она в санбате, на Втором Украинском. От неё чуть не каждый день приходят письма. И всё о Натке. Я Люсе аккуратно отвечаю. С Виктором у неё всё кончено. Об этом она сама написала. В одном из писем я объяснился. Всё-всё описал. Ответное письмо развернул с замиранием сердца, как мальчишка. Но в нём опять о Натке. И только в конце две строчки: „Давай, Миша, об этом поговорим после войны“. И всё. Но я всё-таки счастлив.

И зачем Люся поехала на фронт? Медиков сейчас хватает, война идёт к концу. Мои старики пытались её отговорить. Но она заявила, что должна защитить честь своего отца. Есть сведения, что он в концлагере. На такие семьи некоторые наши товарищи смотрят как на прокажённых. Какая несправедливость! Я знаю немало людей, которые, если бы очутились в плену, обязательно стали бы изменниками. К счастью для них, этого не случилось. А ведь если рассуждать логически, то Люсин отец не изменник, ибо фашисты изменников в концлагеря не бросали.

<u>25 сентября.</u> Сегодня повстречался с бывшим нашим историком Валентином Петровичем. Теперь он инструктор горкома партии. На нём бриджи цвета хаки, китель военного покроя и бурки. Сейчас многие руководящие товарищи щеголяют в такой одежде. И выглядят вроде бы как бывшие фронтовики, хотя немцев видели только на страницах газет. Дань моде и времени, ничего не скажешь.

Белоглазый долго тряс мою руку, щупал ордена. Расставаясь, воскликнул: «А Володя Зылёв — Герой Советского Союза! Кто бы мог подумать?»

Я сам уже много раз думал о Вовке. Если бы мне пять назад сказали, что Зылёв — будущий герой, сроду бы не поверил. Это же был такой анархист.

Война с беспощадной откровенностью обнажала истинные характеры людей, их настоящее лицо.

<u>27 сентября.</u> Сегодня мне приснилась Люся. Будто мы купаемся в Волге, и она, дурачась, обняла меня в воде своими

полными белыми руками за шею. Я даже явственно ощутил запах её мокрого тела. Проснулся и глазами Люси долго разглядывал свою комнату. Какие мысли у неё возникали при взгляде на репродукцию с картины „Колхозный праздник“, при чтении книг, что стоят на полке?

Подумать только — в моей комнате жила Люся, спала на моей кровати, сидела за моим самодельным столом. Что же всё-таки произошло между ней и Виктором?

8 октября. Всё встало на свои места, всё прояснилось.

Я давно собирался навестить Гортензию Егоровну, выяснить её родственные чувства по отношению к Натке. Будут ли они проявляться и в какой форме. А то какая-то неопределённость. Девчушке уже полтора года, она хорошо говорит, зовёт меня папой, а моих стариков — дедом и бабушкой. И будет всё это нарушено.

Гортензия Егоровна встретила меня весьма радушно. Шумно восхищалась моим мужественным видом, назойливо трепала мои волосы. Потом предложила поужинать.

К ужину выставила полбутылки спирту. Выпили. Сидели мы перед столиком на диване. На Гортензии красовался китайский шёлковый халат с драконами.

После второй рюмки её вновь потянуло к моим волосам. И не успел я глазом моргнуть, как Гортензия потушила свет, повалила меня на диван, и её уста, как пишется в романах, слились с моими устами.

Я попытался сбросить с себя бабёнку и обнаружил, что она совершенно голая. Когда только успела скинуть халат? В общем, всё же мне удалось выкарабкаться из-под неё и включить свет.

— Как не стыдно? Ведь вы же мне в матери годитесь! А сейчас уже бабушка.

— Можете не продолжать, — пьяно улыбаясь, заметила она без зазрения совести, облачившись в халат, и, улёгшись на диван, закурила. — Всё понимаю. Сейчас молодых девчонок хоть пруд пруди. Но войдите в моё положение. Мне нет ещё и сорока, а муж где-то по Донбассу шляндрает. — Она засмеялась: — А вы, Миша, совсем невинный. Это удивительно в теперешнее время. Лакомый кусочек для женщины моего возраста.

— Оставим разговор о лакомых кусочках, — оборвал я её и коротко рассказал, что меня к ней привело.

— Это вы ему посоветовали так поступить с Воронцовой? — осведомился я, осенённый внезапной догадкой.

— А хотя бы... Какое это имеет значение?

— Сомневаюсь, чтобы биографию будущего дипломата украсил такой штрих, как обманутая девушка.

Тут случилось то, чего я никак не ожидал. Гортензию словно пружиной подбросило с дивана. Уперев руки в бока и сузив глаза, она заорала, как базарная торговка:

— А ты что? Сообщить хочешь? Сообщай! Иди! Только советую вначале подумать. Один уже пробовал поперёк пути встать, сейчас в Колымской земле гниёт. А тебя есть за что укусить, комиссар. Твои родители приютили дочь изменника! Ясно? Сам в Сибирь загремишь, даром что контуженный!

Всё это Гортензия выпалила прямо мне единым духом. Крашеные губы её злобно кривились, высокий бюст теснил меня к двери. А ведь минуту назад эта женщина готовилась стать моей любовницей. «Воинствующая мещанка!» — хотел крикнуть я, но сдержался: что толку?

— Напишите Виктору, что я удочеряю девочку, — заявил я.

Но эти слова не дошли до Шибановой. Она повысила голос ещё на полтона.

— Нахал! — завизжала она. — Врывается в чужой дом и пристаёт к замужней женщине. А ещё коммунист, комиссар!

Чудовищная наглость Гортензии парализовала мой язык.

Махнув рукой, я выскочил из комнаты. В коридоре хлопнула дверь комнаты у любопытной соседки — в огромном доме Шибановых проживали две эвакуированные семьи, и крик Гортензии был явно рассчитан на чужие уши. Вечером я долго бродил по осенним улицам, голому городскому парку. Мне не давала покоя фраза похотливой бабёнки: «Один уже пробовал поперёк пути стать». Значит, донос на Сергея Ивановича — дело рук Шибановой, а может, и обоих — мамаши и сынка.

Но когда Сергей Иванович встал им «поперёк пути»?

И тут мне припомнился один случай. У Витьки в десятом классе за год по литературе выходила «четвёрка», и он очень беспокоился, что если «четвёрку» отхватит на выпускных экзаменах, то аттестата в золочёной рамке ему не видать. А это значит, что в институт придётся держать экзамен. Лишние хлопоты и волнения. Да неизвестно, как он ещё сдаст. В школе привыкли считать Шибанова отличником. И некоторые учителя по «инерции» выводили ему «отлично». Другому — больше «хорошо» не поставили бы за подобный ответ. Не таков был Сергей Иванович.

Как-то я пошёл к Витьке за логарифмической линейкой, и невольно стал свидетелем его беседы с матерью. Оба сидели на веранде в креслах-качалках и обсуждали перспективы будущего.

— Вот если бы экзамен по литературе у нас принимал другой учитель, — вырвалось у Витьки, — тогда был бы полный порядок.

— Сволочь хорошая ваш Сергей Иванович, — заметила Гортензия Егоровна. — Но надо подумать. Безвыходных положений нет.

Больше они на эту тему не говорили.

Значит, вот что имела Гортензия, когда разоралась. Какая подлость! Невольно вспомнилось лето 1941 года. На одной из переправ красноармейцы моего взвода задержали автофургон с мешками сахара. На нём ехали директор сахарного завода и кассир со своими домочадцами. Воспользовавшись сумятицей, вызванной наступлением фашистов, эти мерзавцы под шумок нагрузили продукцией машину, прихватили двухмесячную зарплату рабочих и дали тягу на восток.

Мне с трудом удалось вырвать из рук рассвирепевших бойцов этих негодяев. Передал обоих в особый отдел. От директора, коротенького, потного человечка с замысловатой украинской фамилией, пахло как из уборной — наложил в штаны с перепугу. На его груди сверкал орден «Знак Почёта», нацепил в дорогу для авторитета и веса.

<u>11 ноября.</u> Только что вернулся из Ульяновска. Это теперь наш областной центр. Ездил в облвоенкомат, всё хлопочу насчёт отправки на фронт. Досада берёт, что без меня ребята войдут в Берлин. Сейчас на гражданке о близкой победе много говорят.

В вагоне, лёжа на самой верхней полке, услышал любопытный разговор. „Какую бы придумал ты казнь этому выродку Гитлеру?“ — поинтересовался мальчишеский голос.

„Какую? — переспросил стариковский басок. — На тупой бы кол гада посадил! Или бросил бы в бетонную яму и к нему с полсотни голодных крыс напустил“. „А я бы не стал его убивать. А посадил бы в клетку и возил по странам, где фашисты горе причинили. И пусть бы люди в него плевали».

Несколько минут царило молчание.

Потом мальчишка с восторгом воскликнул: „Подумать только — допустить немцев аж до Москвы, а потом гнать в шею обратно до границы, перемалывая дивизии и целые армии. Так только русские могут! В мировой истории не найдёшь подобного!“

Действительно, не найдёшь подобного. Невозможно представить себе народ, давший миру Пушкина, Суворова, Менделеева, Горького, Толстого, Ленина и сотни других гениев, порабощённым и уничтоженным.

Припомнилась беседа с пленным эсэсовским офицером. На фронте я пользовался малейшей возможностью, чтобы освоить немецкий разговорный язык. В полку об этом знали и частенько приглашали на допросы. Так и в этот раз. Полковой комиссар позвонил мне и добавил: „Фашист, между прочим, попался густопсовый, с идеями“.

И вот мы сидим в блиндаже. Оберлейтенант чисто арийской породы. Высокий, белокурый и розовощёкий, как херувим, только глаза как льдинки. Это глаза убийцы. Он философствует, отвечая на мой вопрос: „Почему Германия напала на Советский Союз?“

— Мы, немцы, — люди дальновидные. Настанет время, когда на земле станет тесно. Поэтому мы сейчас обязаны позаботиться о жизненном пространстве для наших потомков.

— За счёт других народов? — уточнил я.

— Что же делать? — он цинично ухмыльнулся. — По учению Дарвина, в борьбе за существование сильные побеждают слабых.

— Это в животном мире, — напомнил я.

— Человек тоже животное, только мыслящее. Животные инстинкты у него заключены в рамки морали, они заморожены. Но их легко разморозить.

— В этом мы легко убедились на примере вашей армии, — съязвил я. — Ваши солдаты играючи убивают женщин, детей и стариков.

— Всё это делается в утилитарных целях, — спокойно ответил фашист. — Женщин уничтожаем, чтобы они не смогли больше плодить людей низшей расы, то есть наших врагов, дети — это наши потенциальные враги, а старики — балласт общества.

Я никогда не дрался, даже в детстве, но здесь мне смертельно захотелось своротить скулу этой фашистской гадине.

— Мы потому легко побеждаем, — продолжал эсэсовец, — что в нашей стране единая нация. А Россия — как лоскутное одеяло. В ней десятки наций. Германия подобна граниту. Наш разговор сейчас происходит в глубине России, — надменно проговорил фашист.

— Мы будем вести его на территории Германии, в Берлине, — пообещал я. — А вашего фюрера вздёрнем на верёвке, как бешеного пса.

Дорого бы я отдал, чтобы взглянуть на эту фашистскую рожу сейчас, когда наши ребята подошли к границам Германии.

30 ноября. Вновь довелось столкнуться с Гортензией. У этой женщины нет ни капли совести.

Ещё в начале осени я навестил мать Яши — Ольгу Васильевну. Она болела малярией. Фельдшера пичкали её хинином.

Ольга Васильевна показала мне Яшины письма.

Я сразу понял, что у него серьёзное ранение, может, он даже покалечен, но не хочет тревожить мать. Я бы поступил точно так же. Перед Октябрьскими праздниками с Ольгой Васильевной стало совсем плохо. Вместе с Яшиным отцом мы увезли её в Ульяновскую клинику.

Профессор осмотрел Софонову, пригласил меня в кабинет и сообщил, что надежды на выздоровление нет: у Ольги Васильевны не малярия, а редкая и пока неизлечимая болезнь — белокровие.

А позавчера весь в слезах прибегает к нам Яшин отец, в руке извещение, что Ольга Васильевна скончалась. Мой папа сколотил гроб, мама помогла вконец растерявшемуся старику собрать сряду для покойницы, и мы выехали в Ульяновск.

Велико было наше возмущение, когда узнали, что Ольгу Васильевну схоронили неделю назад, свалив её тело в общую могилу.

Выяснилось следующее: пока я в первый приезд беседовал с профессором о болезни Ольги Васильевны, Яшин отец среди персонала клиники повстречал Гортензию Егоровну. Оказывается, эта стерва вышла замуж за раненого офицера, который лежал в госпитале Средневолжска, и вместе с ним перебралась в Ульяновск, устроилась сестрой-хозяйкой в клинику.

Яшин отец договорился, что Гортензия, как бывшая добрая соседка, будет персонально ухаживать за Ольгой Васильевной, за это получит новые валенки к зиме.

Неизвестно, как добрая соседка ухаживала за больной, но когда Яшина мать умерла, потребовала телеграммой немедленной высылки обещанных валенок и ни слова не сообщила о кончине женщины. Валенки были высланы.

В клинике, не дождавшись приезда родственников, Ольгу Васильевну схоронили.

Мне ещё не приходилось видеть в таком гневе человека. Яшин отец со сжатыми кулаками метался по этажам и коридорам в поисках Гортензии. За ним бегали санитары. Мерзавка успела спрятаться.

Остаток дня мы со стариком провели в хлопотах, добиваясь разрешения в горисполкоме на вскрытие могилы — хотели похоронить Ольгу Васильевну в Средневолжске или хотя бы в гробу и в отдельной могиле.

Ничего не вышло.

15 марта. Самый радостный день в моей жизни. Еду на фронт и притом в свою часть. Это одна радость. А вторая — письмо от Люси. Она согласна, чтобы я удочерил Натку. Как жаль, что воевать нам придётся на разных фронтах».

* * *

Зачитавшись, я не расслышал лёгких шагов и звона стеклянной двери веранды.

— Здравствуйте!

Я поднял голову и вздрогнул:

— Люся!

Белокурая девушка с пышными золотыми косами и румянцем смущения с любопытством разглядывала меня карими глазами. От неё пахло больницей. Я поднялся и, не отрывая

взгляда от девушки, точно опасаясь, как бы не исчезло видение, медленно пошёл навстречу.

Натка непринуждённо улыбнулась, опустила и вновь уже доверчиво подняла повлажневшие глаза.

— Я очень похожа на маму?

— Очень!..

От Витьки Натка унаследовала только вьющиеся волосы. А нос, глаза, угловатые брови, разрез губ — всё было Люсино.

Понимая, что вопрос явно несуразный, я всё же спросил:

— Ты нисколько мамы не помнишь?

Натка снова улыбнулась, наморщила лоб точь-в-точь как Люся, виновато качнула головой:

— Нет. Но иногда мне кажется, что я что-то помню. Такое синее-синее и большие глаза... У меня сохранился мамин форменный синий берет. А может, это всё мне просто кажется. Мама погибла в Венгрии. Её санбат бомбили.

Мы сидим втроём на веранде и пьём чай. Вечереет. Через перила к нам заглядывают гроздья сирени. После дождя она особенно сильно пахнет. Запах умиротворяющий, вызывающий у меня почему-то лёгкую грусть.

— А папу я помню! — уверенно говорит Натка, покачиваясь на стуле.

Несколько секунд я с удивлением гляжу на девушку. Ах да... Как всё-таки до меня всё поздно доходит! Ну конечно, она должна походить на папу!

Натка по-своему истолковывает моё замешательство. Она срывается с места:

— Я вам сейчас принесу фотографию, и вы убедитесь, что я даже похожа на папу.

Она уносится в комнату, и через минуту передо мной шлёпается альбом. На его первой странице прикреплена наша групповая фотография 10 «Б». Снимок 1941 года.

— Вот мама, вот это вы, — говорит девушка. — А это папа! — пальчик с наманикюренным ногтем уверенно упирается в изображение Миши Шумкова.

— Да, похожа, — уверенно говорю я. — Очень сильно похожа!

Мне становится душно. В левой стороне груди вновь заколотило.

— Вам плохо? — карие Люсины глаза приближаются к моему лицу, профессиональным движением Натка хватает мою руку и нащупывает пульс.

— Пустяки! — бодро восклицаю я. — Немного устал, плохо спал на пароходе: волновался перед свиданием с родным городом. Пройдёт.

— Вам постелить постель?

— Через три часа уходит мой пароход. Отосплюсь на реке. Знаете, как хорошо спится под мерный шум машин и плеск воды?

На лице у Натки разочарование. Ей, очевидно, хотелось поболтать со мной. Завитки волос над её высоким лбом, как маленькие вопросительные знаки.

Я прощаюсь с Евдокией Ивановной, прошу Натку проводить меня. Она охотно соглашается. И тут едва не совершаю страшную оплошность. Мишин дневник, свернув в трубочку, я засунул в грудной карман пиджака, а пиджак повесил на вешалку. Одеваться с одной рукой я давно научился. Но здесь мешала толстая трубка тетради. Вытащив её, я, не задумываясь, положил на тумбочку. Натка глянула, и глаза девчонки вспыхнули:

она прочла на наклейке «Дневник Михаила Шумкова». Мгновение, и тетрадь у неё в руках.

— Наташа, помоги мне надеть пиджак.

Девушка положила дневник на тумбочку, бросилась помогать. Миг, и тетрадь в моём кулаке.

— Откуда у вас папин дневник? Бабушка, почему я о нём ничего не знаю? Вы зачем его забираете? — в больших глазах недоумение, настороженность и огорчение.

— Твой папа завещал дневник мне, — твёрдо говорю я. — Вон бабушка подтвердит.

— Ну дайте хоть глянуть!

— Нет, Наташенька! — ласково, но твёрдо говорю я.

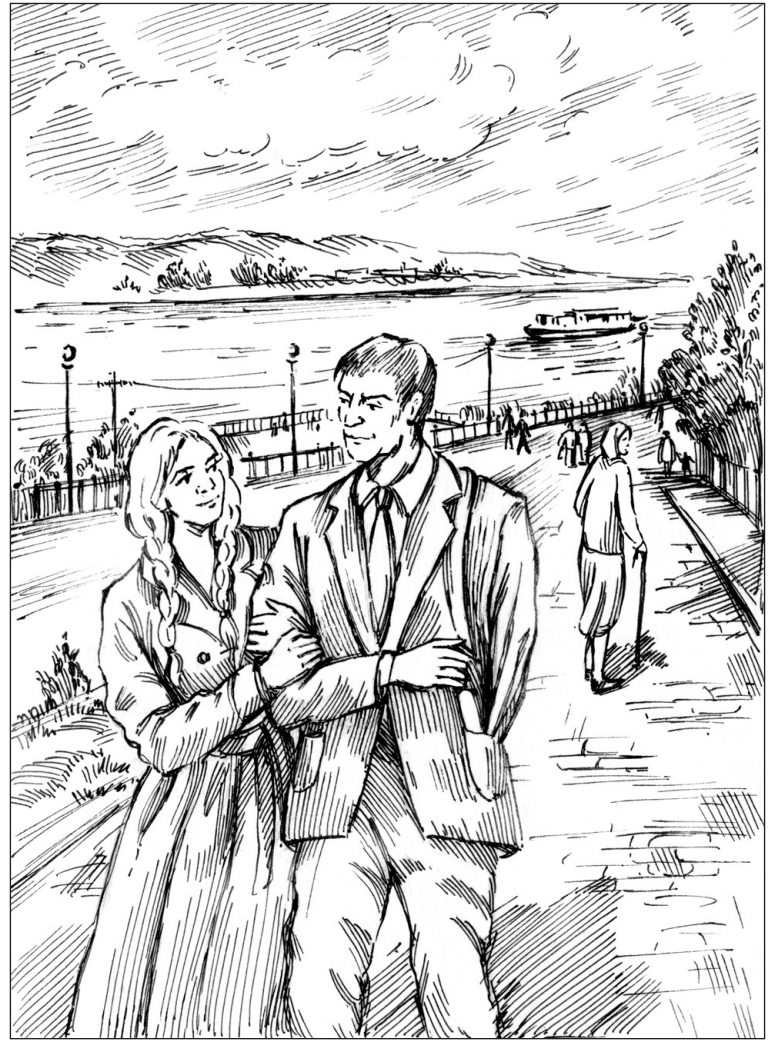
Натка обидчиво затихает, взгляд становится отчуждённым. И мне от этого становится тяжело. Не предполагал я, что мы так расстанемся с девушкой.

— До свидания, Ната! Проводишь меня?

Девушка не отвечает. Несколько секунд колеблется, дуется, потом накидывает на плечи плащ, и мы бредём по вечерним улицам к пристани. Под локтем я ощущаю тугую девичью руку. Я рассказываю о своих школьных годах, о незабываемых вечерах, когда мы выпускали газету, о Вовке Зылёве, о Дусе Рыжовой, о Сергее Ивановиче. Натка внимательно слушает, смеётся там, где это смешно, грустит, где грустно.

Мне с ней хорошо, как бывает хорошо отцу с любимой дочерью. Видимо, то же испытывает и Натка. В глазах её появляется доверчивый блеск. Дневник, видимо, забыт. На нас с добрым вниманием оглядываются гуляющие по набережной прохожие, и нам это приятно.

Приходит пароход.



Откровенно говоря, мне страшно не хочется расставаться с девушкой. Подобные чувства владеют и Наткой.

— Давай прощаться! — предлагаю я.

Девушка протягивает ладошку, склоняет голову. Я прижимаюсь губами к её лбу, где шевелятся волосики-вопросики, и долго не могу оторваться, вдыхая запахи чистой девичьей кожи, ромашки и ещё чего-то волнующе-трогательного, забытого.

— Вы почему не дали мне взглянуть в папин дневник? — слышу я. Большие Люсины глаза смотрят умоляюще, с грустной укоризной и требуют ответа. — Там что-то сугубо интимное?

— Я тебе вышлю дневник, как только весь прочту, — обещаю я. — И больше ни о чём не спрашивай. Договорились?

Глаза смотрят в упор не мигая. В них плохо скрытое недоверие. Я спокойно выдерживаю этот взгляд и твёрдо говорю:

— Я ещё никого не обманывал!

Девушка виновато улыбается и вдруг порывисто прячет своё лицо у меня на груди.

Забравшись в каюте первого класса на койку, я включил плафон и раскрыл тетрадь там, где моё чтение прервал приход Наташи. Первые же строки заставили меня содрогнуться. Сердце сжалось, а потом учащённо забилось, точно ему стало тесно в грудной клетке. Передо мной было прощальное письмо Миши Шумкова. Вот оно.

«Дорогой Яша!

Когда ты будешь читать эти строки, я буду в небытье. Стану землёй или глиной. Странно это звучит, но что поделаешь? В Смоленской области нам довелось спасаться от бомбёжки на заброшенном кладбище. Бомбы вырывали из глубины одну глину, костей совсем почти не было. Понимаешь, вот пишу это, а сознание никак не хочет мириться, что меня не будет на свете. Без меня будет светить солнце, мчаться облака и шуметь под ветром деревья. Кажется, у Джека Лондона я читал рассказ. Писатель рисует судьбу человека на протяжении столетий. Этого человека или убивали в сражениях, или он сам умирал, а через энное количество лет возрождался в новом качестве. Рассказ ведётся от первого лица и впечатляет, хотя отлично понимаешь, что автор фантазирует. Может, и я появлюсь лет этак через сто-двести в новом качестве. На земле не будет войн, люди будут жить долго-долго, всем им будет знакомо чувство любви, радости отцовства и материнства.

Ты, наверно, упрекаешь меня, что я, инвалид, поехал на фронт. Как тебе объяснить? Видишь ли, перед моими глазами постоянно маячат павшие товарищи. Я просто должен быть в Берлине. Я должен увидеть ту страну, на земле которой появилось фашистское отребье. Кто и что его породило? Я должен, наконец, увидеть матерей этих выродков. Ибо на горе матерей павших русских ребят я насмотрелся достаточно.

Летом 1942 года в наш полк прибыло пополнение — восемнадцатилетние мальчишки, худые и щуплые (полуголодная жизнь в тылу давала себя знать). И вот роте этих мальчишек приказали занять первую линию немецких окопов — обычная разведка боем. Артиллеристы дали немного огоньку. Ротой командовал такой же не нюхавший пороху лейтенант. С криком „Ура!“, „За Сталина!“ мальчишки в полный рост пошли в атаку, как видели в довоенных фильмах. Немцы сразу сообразили, что за солдаты перед ними. Фашисты не сделали ни

одного выстрела. Подпустили роту чуть не вплотную к окопам и спокойно всех расстреляли. Всех, до единого! У меня много дней в ушах стояли жалобные крики „Мама!“.

Это кричали раненые мальчики на нейтральной полосе. Гитлеровцы не подпускали к ним наших санитаров. Так все и погибли.

В Средневолжске меня «сватали» парторгом на завод. Валентин Петрович — наш бывший историк — приходил даже на дом уговаривать идти на работу в горком партии.

— Между нами говоря, я не понимаю, что вас тянет на фронт, — бормотал он. — Война кончается, свой долг вы выполнили, даже перевыполнили, наград у вас — дай бог каждому, пенсия приличная...

Слушал я его, а перед глазами у меня стоял декабрь 1941 года. Во время Подмосковного наступления мы не успевали отправлять раненых в тыл. Чтобы они не замерзали, складывали в штабеля. Окровавленные люди согревали друг друга своим телом. На один из таких штабелей наткнулся немецкий танк. Страшно описывать, что он наделал! Зверь этого не сделает! Я должен увидеть логово этого зверя!

За день до отъезда на фронт меня пригласил к себе первый секретарь горкома партии. Я решил, что вновь начнутся уговоры. Но ошибся. Навстречу мне шагнул сухой старик с орденом Ленина на потёртом френче, предложил сесть и долго, покуривая, с задумчивым интересом разглядывал меня. В ответ на моё удивление он сказал:

— Вот когда к закату идёт жизнь, в которой были и забастовки, и тюрьмы, и Гражданская война, и Турксиб, то иногда задаёшь себе вопрос: а какие руки подхватят твоё дело, как выглядит обладатель этих рук? Я для того и вызвал вас, чтобы посмотреть и лишний раз порадоваться. Уж простите мою стариковскую слабость.

— Если бы я остался в Средневолжске, вы бы, вероятно, мне смотрины не устраивали, — попробовал пошутить я.

— Нет! — серьёзно ответил секретарь.— Не устраивал бы. Далеко не всех мне хочется видеть. На иных глаза бы не смотрели! — Он встал: — Счастливого пути! И возвращайся! Слышишь?

Секретарь как-то особенно просяще посмотрел мне в глаза, даже обнял за плечи и повторил тихо:

— Обязательно возвращайся! Требую!

Не выполнил я, к сожалению, повеления этого славного старого коммуниста.

Печалит меня, Яша, судьба родителей. Я, наверно, поступил по отношению к ним жестоко. Старики не знали, что я сам добился отправки на фронт. Но отец, видимо, догадывался. В день отъезда он долго сидел в моей комнате, молча курил.

— Если что... — он не договорил, помолчал. — Мы со старухой совсем одни останемся. И род Шумковых прекратится.

И вот они остались без сыновей, как тысячи других стариков без внуков. Но отец простит меня. Он хорошо знает слово „должен“. А свет не без добрых людей. Может, ты, Яша, поселишься у нас? Старики очень будут тебе рады! Ты, как и я, любил и любишь Люсю. Уверен, что после победы вернёшься в Средневолжск, и вы будете вместе. Она в своих письмах очень тепло о тебе отзывалась. Желаю вам большого-большого счастья! Когда у вас появятся сыновья, назовите одного из них моим именем. Хорошо? Прощай!»

Я долго сижу неподвижно. Прости меня, Миша, не смог я выполнить твоих заветов.

Пассажиры на теплоходе спят. Мерно стучат машины. Сквозь опущенные на окне жалюзи доносится шум воды и тянет речной сыростью.

Затем я осторожно вырываю из тетради последние страницы, где говорится о Шибанове, Гортензии Егоровне, об удочерении Натки, вырываю прощальное письмо. Дневник я завтра же с ближайшей пристани отошлю Натке.

На палубе пустынно. Тугой ветер треплет пустой рукав пиджака, выхватывает из пальцев листки дневника, и они белыми голубями, кувыркаясь, исчезают в шипящей водной темноте.

Интересно, проскочил ли Витька на своей «Волге» то грязное место, которого он так пугался? Конечно, проскочил. Такой везде проскочит. Мчит сейчас где-нибудь по автостраде возле Куйбышева. Машиной управляет самоуверенный сынок. Витька рядом. Сидит, самодовольно покуривает, дым вытягивает в боковое окно. На заднем сиденье в обществе свёртков расселась «курочка» — довольная мужем, сыном и сама собой. Номер в гостинице уже заказан. Как-никак едет кандидат наук. Учёный муж!

Защитит этот муж потом докторскую диссертацию, в которой будет много чужих мыслей. На его лекциях студенты будут переводить «знаки» и решать в «Огоньке» кроссворды, ибо то, что говорит профессор Шибанов, хотя звучит звонко, но скучно и не ново. Профессор и сам это отлично понимает, но пальцем не пошевелит, чтобы читать интереснее, так как любит не своё дело, а титул и связанные с ним почести и привилегии.

Со временем Витька переберётся в столицу, станет ездить в заграничные командировки, по возвращении из которых в кругу подобных себе друзей будет, похохатывая, рассказывать свежие анекдоты с антисоветским душком.

...А Натка ворочается в своей девичьей кровати. Не спит. Золотые волосики-вопросики шевелятся на высоком лбу. Натка размышляет. Почему это дядя Яша так решительно отобрал у неё тетрадь? И как это она не знала, что в пяти шагах от её комнаты на дне старой бабушкиной укладки столько лет лежал папин дневник! Чего там могло быть запрещённого? Папы и мамы нет на свете уже полтора десятка лет, дядя Яша давно женат и живёт далеко отсюда... Чудные эти старики!

Натка решительно поворачивается на правый бок и, стараясь больше ни о чём не думать, погружается в сон. Завтра на работу в больницу ей идти в ночную смену. Днём она должна окучить в огороде картошку. Потом надо сводить бабушку к невропатологу — у неё спина болит. Бабушка — единственный родной человек на свете у Натки.

...А мне не спится. Эх, как жаль, что Витька уехал. Показать бы ему последние записи из Мишиного дневника. Что, интересно, запел бы этот краснобай в своё оправдание? Вывернулся бы, как уж из-под вил. Это уж точно!

Сколько таких Шибановых ходит ещё по нашей земле. Они выглядят чистенькими, порядочными, никогда не переступают границы законов и всегда держат нос по ветру. Самое страшное — это то, что свою жизнь подобные люди считают глубоко правильной. Кто живёт иначе, тот недотёпа, примитив, в общем — не от мира сего. Этот свой взгляд Витька, как эстафету, передаст сыну. И будем потом мы удивляться, откуда

это у нас берутся критиканы, инфантильные молодые люди, рвачи и приспособленцы.

На востоке небо стало шафранным. Над чёрной водой затрепетала ряска тумана, перилки от росы стали сырыми. На пустынной палубе показался матрос, потянулся до хруста в костях, позевнул. Видимо, спал после вахты. Ему хотелось поговорить. Он облокотился о перилку, закурил, сплюнул в шумящую воду, поинтересовался:

— Папаша, что это за планета? Случаем, не знаешь? — Он развязно кивнул на восток, где в холодной зелени предрассветного неба купалась звезда.

— Двадцать лет назад, в такое же точно утро, я смотрел на эту звезду вон с того берега, — сказал я. — Её в тот момент видели штурманы летящих на восток самолётов с чёрными крестами на плоскостях. Штурманы давно обратились в песок и глину, металл плоскостей давно переплавили, у меня вот нет руки, а друзья школьных лет спят под обелисками. К стыду своему, до сих пор не удосужился узнать, что это за звезда. Всё времени не было.

Матрос замер.

— Извините. Я не хотел вас обидеть.

Он смущённо замолчал. Потом доверительно добавил:

— Мой отец погиб на Мамаевом кургане. Я об этом только недавно узнал, когда на целине был. Специально приехал и поступил на теплоход. Когда стоим в Сталинграде, хожу на Мамаев курган. По окончании навигации устроюсь на работу в этом городе. Поближе к отцу...

Паренёк замолк и вдруг радостно воскликнул:

— Смотрите! Спутник!

Серебристая звёздочка медленно двигалась по небосводу в юго-западном направлении, приближаясь к той самой звезде. Звезда совсем потускнела, и в тот миг, когда спутник очутился рядом с ней, — погасла. А спутник летел дальше, и, казалось, светится ещё ярче, точно впитав в себя свет угасшей звезды.

— Вахту принял! — заметил матрос, и, повернув ко мне лицо, довольно рассмеялся.

* * *

То ли от тепла грелки, унявшей зуд нервов в культе, то ли утомившись от воспоминаний, я задремал. И проснулся от тревожного голоса Сони.

— А где Гошка?

В самом деле — где он? Соня с видом опытного следователя бросилась осматривать вешалку и обувь у порога.

— Ну конечно, он поехал копать картошку, — определила она.

— Неужели не мог удержать? Ведь у парня ангина! Не родной он тебе, так уж не родной!

Последняя фраза предназначалась мне в качестве затравки к скандалу. Но я не поддался на провокацию. Промолчал. Мне было радостно, что Гошка сейчас с ребятами, несмотря на дождь, копается в поле. Ночевать мальчики будут на сеновале. А перед сном станут горячо обсуждать принципы полёта космических кораблей. Под дремотный шорох дождя зазвучат слова «невесомость», «скафандр», «орбита», как в наше время звучали «истребитель», «стратостат», «затяжной прыжок».

23.04.1972 г.

ДЕВЧАТА. Рассказ

Посвящаю солдату Лебедевой, погибшей 15 марта 1943 года на боевом посту на ст. Горбачёво и посмертно награждённой медалью «За боевые заслуги».

На зенитную батарею, что охраняла мост через Оку, их прибыло ровно двадцать. Робкой цепочкой, с разномастными мешками за плечами, возглавляемые старшиной, они прошли вдоль орудий и скрылись в хозяйственной землянке. Молодые солдаты перекликались у пушек:

— А девочки есть ничего!

— Обратил внимание на ту, что с косой?

— А рыжая с чёлкой? Видать, огонь-девка!

Командира приборного отделения Шепелева вызвал командир батареи:

— Ну, сержант, готовься принять замену. Даю тебе три дня на обучение девушек строевой и уставам. Потом отберёшь себе десятерых на ПУАЗО. Остальных на НП, на дальномер и кухню. Сам будешь жить на первом орудии.

— Всего три дня! — ахнул сержант.

— А ты хотел три месяца? Война, брат, ничего не попишешь. Мужиков фронт требует. А нам здесь, во втором эшелоне, с женским полом служить придётся. Да ты не смущайся: девчата смышлёные, техникумы заканчивали.

А накануне всех сержантов батареи собрал замполит:

— Вот что, орлы, — замполит взглянул на часы. — Меня в штаб вызывают, и рассусоливать нет времени. В общем, у нас будет женский персонал. Скажу по-свойски: амуров не заводить и за солдатами следите. Ясно? Шишки будете точить после войны. — И под общий хохот закончил: — Кого заметим — прямая дорога в штрафную роту. Ясно?

Шепелев побрёл к хозяйственной землянке. Службу в армии он начал семь лет назад. Отслужив действительную, остался на сверхурочную. Остался потому, что девушка, которая давала слово его ждать, вдруг вышла замуж. Армейскую службу Шепелев полюбил: ему нравились порядок, чёткость и простота во взаимоотношениях между людьми. В армии всё предусмотрено уставами, выполняй только их добросовестно. Грянула война. За годы службы через руки Шепелева прошло немало солдат, а вот девчатами командовать не доводилось. «Чёрт-те что, — хмуро размышлял Шепелев, — к ним, поди, особый подход нужен, деликатность да нежность...»

В огромной землянке хозотделения стояли гомон, смех и крик. За перегородкой помстаршина выдавал новобранцам обмундирование, военфельдшер торопил их в баню, а недалеко от входа орал на девушку с косами.

— Вот, полюбуйся! — обратил он разгневанное лицо к Шепелеву. — Не желает обрезать косу. Ты, дорогуша, не у мамки, а в армии. Понятно? Сейчас я вызову часового, и ты будешь у меня под арестом, пока не подстрижёшься.

Девушка сидела на скамейке, низко опустив голову, губы у неё дрожали от обиды, но она не плакала. «Упрямая! — отметил про себя Шепелев. — А коса действительно роскошная — толстенная и не меньше метра». Сделав старшине знак, чтобы удалился, сержант тихо спросил:

— Как тебя звать?

— Лена, — неохотно ответила девушка и исподлобья взглянула на Шепелева. В больших карих глазах были и вызов, и какая-то злая непокорность.

— Красивая коса, ничего не скажешь. Сколько лет отращивала? Пять? Но длинные волосы здорово будут мешать, когда будете выбегать из землянки по тревоге, особенно ночью. Да и мыть косу надо часто. А где возьмёте горячую воду? А во-вторых, в армии строго придерживаются формы — всё должно быть одинаковым. На фронте головы теряют, а ты косу жалеешь. После войны отрастишь, ведь тебе всего восемнадцать. Давай подстригайся и в баню. Я тебя в свой расчёт возьму. — Шепелев сам удивился, как у него всё складно получилось.

У девушки растаяла в глазах угрюмость, она вдруг доверчиво, совсем по-детски улыбнулась Шепелеву и направилась к батарейному парикмахеру.

На следующее утро, надраив до зеркального блеска ботинки и подшив свежий подворотничок, Шепелев повёл девичью команду на поляну к берегу. Выстроил девчат в две шеренги и невольно залюбовался стройностью их фигур. И пилотки у всех кокетливо сдвинуты набочок, и поясные ремни затянуты до предела.

А строевики они оказались отменные: за какие-то два часа освоили и повороты, и приветствия, и строевой шаг. Со своими мужиками, помнится, Шепелев возился не меньше недели. Впрочем, чему удивляться: одним по восемнадцать, а другим за тридцать и даже за сорок. Да и вообще вся строевая премудрость девчонкам легче даётся: по танцулькам каждая, поди, бегала, ногами вертеть умеют.

Устроили перерыв.

Жарило июльское солнце, вдали над ажурными фермами моста дрожало марево. Шепелев устроился курить подальше от девчат — под кустом. Девушки расселись кто на трухлявом стволе липы, кто среди ромашек, о чём-то тихо переговаривались. Одна Лена помалкивала. Нарвала цветов и, что-то мурлыча под нос, плела венок. Короткая стрижка нисколько не портила её голову. Наоборот придавала большеглазому лицу строгость. В отличие от подруг, во всех её движениях ощущалось какое-то величавое спокойствие.

«Есть женщины в русских селеньях...» — всплыла в мозгу сержанта фраза из школьного учебника (перед службой после педучилища Шепелев с год работал учителем). «Да, эта знает себе цену. Сделаю-ка я её первым номером. А Катю вторым», — сержант перевёл взгляд на девушку с чёлкой, которая, задорно сверкая чёрными глазами, что-то рассказывала двум подружкам. Те гнулись от смеха.

После перерыва приступили к изучению устава караульной службы. Ощущая на себе взгляды двадцати пар глаз, Шепелев невольно краснел и, чувствуя это, злился на себя. Он понимал, что его состояние не ускользает от внимания девчонок. И чтобы убедиться в этом, оторвался от книги. Почти вся команда улыбалась, а рыжая Катька даже хихикала. Только Лена была серьёзна. Её ободряющий взгляд так и говорил: «Не тушуйся, сержант! Ведь мы хорошие». «Нет, с мужиками проще!» — заключил Шепелев, захлопывая устав.

— Какие будут вопросы? — обратился он к девушкам. Вопросов не было. Но вдруг Катька, как в школе, подняла руку, чёрные глаза лукаво блеснули:

— У меня вопрос, товарищ сержант. А вы женаты?

Команда зазвенела смехом. Только Лена улыбалась. Глаза её говорили: «Не сердитесь, товарищ сержант. Катька озорница, но она хорошая». А Шепелев вдруг почувствовал облегчение: он обрёл тот ключ поведения, которого так ему не хватало. «Вот вруха!» — восхитился он и покачал головой.

— Не женат, мои красавицы. До войны не успел, а сейчас — сами понимаете... Но к уставу это не относится. Итак, вопросов нет. Встать! В две шеренги становись!

На следующий день, отобрав для своего приборного отделения десять девушек, Шепелев приступил с ними к изучению ПУАЗО. В ровиках прибористов сразу стало теснее и веселее. Солдаты сыпали шутками, девчата не оставались в долгу. А ещё два дня спустя Шепелев распрощался со своими мужиками.

* * *

«Как-то поведут себя мои красавицы при воздушном налёте?» — размышлял Шепелев, наблюдая, как бойко во время очередного занятия по артподготовке девушки крутят штурвальчики и чётко докладывают показатели приборов. Изредка на большой высоте пролетали немецкие разведчики. Их обстреливали.

При налёте штурмовой авиации прибористам делать нечего — ПУАЗО рассчитано для выработки данных только по горизонтально и равномерно летящим самолётам. И чтобы занять бездействующий расчёт, устав ЗА (зенитной артиллерии) в такие минуты предписывает прибористам сидеть с винтовками в траншее на случай выброски парашютного десанта.

В тот ясный, подёрнутый сизой дымкой августовский день, предвещавший близкую осень, с НП передали о появлении «Хенкеля». Несмотря на мглистое небо, белый крестик

«Хенкеля» дальномерщики отыскали быстро. Прибористы поймали цель, определили данные. Батарея дала три залпа. Шепелев, отстранив от окуляра Катьку, с удовольствием заметил, как ватные клубочки разрывов заплясали над фюзеляжем самолёта. Сделав противозенитный манёвр, «Хенкель» со снижением ушёл на запад. Прозвучала команда идти на обед. Проворная Катька (она всегда с охотой ходила за обедом) навесила по пять котелков на палки с зарубками и, покачивая бёдрами, направилась в сторону кухни, как вновь объявили тревогу. Дежурный разведчик у КП закричал: «Двадцать „Юнкерсов“ с юго-запада!»

Шепелев с девчатами метнулся было к прибору, но нарастающий гул моторов прорезал истошный фальцет командира огневого взвода Нистратова: «По штурмовой, взрыватель восемь! Огонь!»

Выхватив из пирамиды винтовки, сержант со своим расчётом по ходу сообщения помчался к внешней траншее. Послышался нарастающий свист, земля дрогнула от бомбового удара. Образовав круг, «Юнкерсы» поочерёдно срывались в крутое пике на мост и батарею. С ними, повторяя все их манёвры, пикировали «Мессершмитты» — истребители сопровождения. Басовито ухали зенитки среднего калибра, захлёбывались в частой тараторке малокалиберные пушки.

У девчат были одинаковые круглые от страха глаза. Присев на корточки на дно траншеи, они испуганно следили, как «Юнкерсы» прямо над их головами выходят из пике, оставляя в месте выхода чёрные капли бомб, которые с жутким воем летят на батарею и мост. Обвальный грохот, дождь земли, сероводородная вонь взрывчатки. Когда вздрагивала от взрыва земля, вздрагивали, закрыв глаза, и девчата. «Совсем дети», — с жалостной горечью, оглядывая своё присмиревшее отделение, думал сержант. «Юнкерсы» сделали три захода. Во время последнего захода не выдержали нервы у Катьки: вскочив в полный рост, она вскинула винтовку и начала палить в кабрирующий самолёт, крича во всё горло:

— Гад! Вот тебе! Вот тебе! Я не хочу распадаться на элементы таблицы Менделеева раньше времени!

Подминая прижавшихся к нему девчат, Шепелев рванулся к ней и с силой дёрнул за юбку:

— Ложись! Дура сумасшедшая!

Катька свалилась, а идущий следом за «Юнкерсом» «Мессер» прошёлся пулемётной очередью вдоль траншеи. Пыльные бурунчики запрыгали по дёрну бруствера.

Мост уцелел, самолёты улетели, а в траншее послышался тихий стон.

— Товарищ сержант, Наташу ранило! — раздались испуганные голоса.

Наташа была самой маленькой девушкой в расчёте. Молчаливая и исполнительная, она ничем не выделялась. Сейчас Наташа сидела, согнувшись на дне траншеи, и, обхватив свои высокие груди, стонала. Сквозь пальцы сочилась кровь.

— Врача, быстро! — приказал Шепелев, бросаясь к Наташе. Но батарейный доктор сам бежал к траншее.

— Сержант, давай быстрей двоих-троих в помощь: второй орудрасчёт почти весь осколками посекло. И у тебя раненая? Да перевязывайте сами, чёрт побери! Ведь девчонки в фармацевтическом учились! Значки ГСО имеют!

Катя с Леной полетели за военфельдшером, а Шепелев, расстелив плащ-палатку, положил на нее Наташу. Хотя помощниц

у него хватало, но пользы от них было мало: бледные и напуганные, девчата бестолково суетились, наперебой давали советы. Шевелев попытался расстегнуть на Наташе гимнастёрку, но та вцепилась в его руки скользкими от крови пальцами:

— Не надо! Пусть девочки! Пусть они...

— Молчи! — рявкнул Шепелев. — Если жить хочешь...

Он разорвал на Наташе гимнастёрку, срезал ножом набухший кровью лифчик и похолодел: пуля «Мессера» прошила сбоку обе груди. Выходные отверстия были ужасными. Бросив на охнувших помощниц свирепый взгляд, сержант приказал:

— Пакеты! Всё у кого есть!

Вместе с девчатами, приподняв Наташу, Шепелев накрутил на её грудь один пакет, другой, третий... бинты продолжали краснеть.

— Как же я ребёнков-то кормить буду? — голубые глаза девушки на восковевшем лице ловили взгляды подруг и своего командира. Не отвечая на вопрос и стараясь проглотить горький комок в горле, Шевелев закутал в свою просторную шинель начавшую зябнуть Наташу и понёс. Около медпункта уже стучал мотором ЗИС, в кузове белели повязками раненые. Подбежавший к Шепелеву доктор сделал Наташе противостолбнячный укол, озабоченно вгляделся в лицо с удивительно яркими веснушками.

— Товарищ военфельдшер, а я смогу кормить ребёнков? — скорее прошелестело, чем прозвучало из шинели.

Доктор бодро воскликнул:

— Конечно, сможешь!

Когда Наташу уложили на дно кузова, доктор, поймав на себе умоляющий взгляд Шепелева, хмуро заметил:

— Дай-то бог до госпиталя довезти! — и вскочил на подножку тронувшейся машины.

Земля вокруг батареи была перепахана бомбами, торчали обрывки резиновых кабелей, возле моста что-то горело.

Вместе со всеми Шепелев заравнивал воронки, таскал со склада боепитания четырёхпудовые ящики со снарядами и всё посматривал на дорогу, по которой ушёл ЗИС с ранеными. И едва машина появилась, как сержант бросился к ней.

— Довёз и сдал живой, — неохотно ответил военфельдшер, — даже положили на операционный стол, но... — Шепелев круто повернулся и, по-стариковски сутулясь, пошёл к своим девчатам.

В ровиках, где стояли приборы, был наведён порядок, пол землянки тщательно выметен. А среди её обитательниц кипел злой спор.

— Это ты виновата, что Наташку ранило! — наседали на зарёванную Катьку несколько подруг. — Зачем стреляла? Всё равно «Юнкерса» не сбила, а Наташка в госпитале!

Гам мгновенно стих, едва Шепелев появился в землянке. Девять пар разноцветных глаз вопросительно и с надеждой уставились на сержанта.

— Жива Наташа, только крови много потеряла, — успокоил девчат Шепелев, не зная куда девать глаза, и столкнулся со взглядом карих глаз. «Ты ведь врёшь, сержант», — говорили с болью глаза Лены. «Вру, — ответил ей также взглядом Шепелев. — Но так надо, понимаешь?» «Понимаю», — ответила Лена и, опустив глаза, застыла в горестном молчании.

— А Катю вы не браните, — продолжал Шепелев. — Это просто досадное совпадение, что она стреляла и «Мессер»

открыл огонь. Фашист её даже не приметил. Что ж, война есть война, девоньки. К потерям надо быть готовым. Будь она проклята!

Катька, получив неожиданную поддержку от своего командира, бросилась к нему, уткнулась лицом в плечо и откровенно разрыдалась.

— Ну перестань! Ты же солдат! — увещевал девушку Шепелев, гладя её стриженый затылок, а сам с грустью думал: «Какой, к чёрту, из неё солдат! Как дальше-то воевать будем? Как это несовместимо — женщина и война».

Но время шло. Выветривалась книжная романтика сражений, которой были напичканы некоторые девичьи головы. Её вытеснили тяжёлые будни — и мозоли на ладонях от копки траншей и землянок, и бессонные ночи, когда по пять-семь раз по тревоге выбегаешь полураздетой из сырой землянки и ёжишься на ледяном ветру с одеревеневшими от недосыпаниями мозгами, и осенняя грязь на сапогах и мокрой шинели, и вой пикирующих самолётов, и кровь...

Шепелев с болью в душе наблюдал, как меняются девоньки. Одни замыкались в себе, начинали опускаться — не всегда умывались, от случая к случаю причёсывались, и приходилось сержанту влиять на таких где строгостью, а где и лаской. Были и такие, как Катька.

На Катьку от всех этих военных лишений напала какая-то отчаянная бравада. Однажды поздним вечером Шепелев застал её в отдалённом ровике в обществе командира отделения тяги шофёра Дротикова. Дротиков, расстегнув на Катьке шинель, деловито мял её крутые бёдра. Во рту Катьки дымила неумело скрученная цигарка.

Рванув на себя Дротикова, Шепелев прошипел в его по-блатному улыбающуюся харю:

— Если не хочешь угодить в штрафную, больше здесь не показывайся! Ясно?

— Доложишь? — осведомился Дротиков с кривой усмешкой, поправляя чуб, который вопреки уставному запрету упорно отращивал.

— Пока повременю. Проваливай!

Дротиков исчез, а Катька разъярённой кошкой набросилась на сержанта.

— Вы кто мне? Отец? Сват? Разве мне доли нет? Не сегодня так завтра я, может, распадусь на элементы таблицы Менделеева! Не всем быть такой, как ваша Лена!

— Прекрати истерику! — приказал Шепелев, выдёргивая изо рта девушки цигарку. Но Катька продолжала в исступлении:

— А если уцелею, кто на меня из парней посмотрит? Одно слово — фронтовичка! Девок на гражданке сейчас навалом!

— Замолчи! — потребовал Шепелев, теряя терпение. — И приведи себя в порядок.

Катька, словно наткнувшись на стену, замолчала. Дрожащими пальцами начала застёгиваться.

— Ты же красивая девчонка! — тихо заговорил Шепелев. — И только какая-нибудь тыловая сволочь может обозвать тебя «фронтовичкой». А собственно, что в этом позорного? Наоборот, фронтовик — это звучит гордо! Это почётно!

— Вот именно: фронтовик, а не фронтовичка, — буркнула Катька. — Разрешите идти?

Шагая по батарее, Шепелев хмуро размышлял о том, что девчонка в чём-то права. Жизнь не сладкий кусок пирога,

а люди не ангелы. В жизни немало и огорчений, и несправедливостей. И через всё это девчатам предстоит пройти. В ушах сержанта вдруг прозвучала фраза, оброненная Катькой? «Ваша Лена». Щёки Шепелева ожгла краска смущения: «Вот паразитки! Неужели заметили?»

Лена в отделении была одна из немногих девушек, кто, несмотря на трудности военной жизни, всегда была подтянута, аккуратно причёсана, у которой всегда на гимнастёрке виднелась свежая полоска подворотничка. Шепелев втайне любовался девушкой, хотя боялся признаться себе в этом. Он даже чаще, чем к другим, придирался к ней. Делал это, обычно не глядя на Лену. И только однажды, случайно взглянув, был поражён точно током: карие глаза светились спокойной усмешкой: «Ну что ты, сержант, разоряешься? Злишься, что я тебе нравлюсь? Разве я виновата?»

Раздосадованный Шепелев вкатил тогда Лене наряд вне очереди, можно сказать, ни за что. И долго потом казнился.

Запомнился Шепелеву один из летних дней, когда на батарею нагрянули проверяющие. Проверяли боевую и политическую подготовку, химподготовку... К прибористам в ровик спрыгнули сразу два офицера: пожилой капитан с недовольным лицом и щеголеватый лейтенант с томным взглядом.

Девчата, получив вводную, работали быстро, чётко докладывали, и лицо у недовольного капитана стало довольным. Он особо отметил Лену, похвалил Шепелева и предложил всему расчёту проследовать в землянку, где химик проверял навыки по химической защите.

Расчёт ушёл, а Лену задержал лейтенант, решив дополнительно проверить её знания по курсовой каретке. Лейтенант

относился к разряду штабных сердцеедов. Заметив, что Шепелев медлит с уходом, строго спросил:

— А вы почему, товарищ сержант, задерживаетесь? Идите к расчёту!

За углом хода сообщения Шепелев остановился. Он услышал вкрадчиво-воркующий голос лейтенанта, из которого не мог разобрать ни одного слова, и спокойный грудной голос Лены:

— Не распускайте рук, товарищ лейтенант, я ведь могу ударить!

Вновь воркующий голос и вновь голос Лены:

— Телефонистской в штаб? Мне и на батарее хорошо. А во-вторых, здесь уж вы пристаёте, а там от вас проходу не будет!

«Ай да девка! Отбрила под первое число!» — восхитился сержант.

Весной батарею перебросили на охрану узловой железнодорожной станции, которая находилась в ста километрах от линии фронта и постоянно была забита эшелонами с военными грузами.

Накануне того рокового дня Шепелев дежурил по батарее. В его обязанности входила смена и проверка часовых. В общем, он выполнял роль и начальника караула, и разводящего — война внесла свои поправки в устав караульной службы.

В двенадцатом часу ночи, сменив часовых у склада боепитания и кухни, Шепелев, с хрустом топча мартовский лёд на лужах, спустился в землянку девчат, чтобы разбудить Катьку на смену Лене. Лена охраняла на станции ящики с бутылками горючей смеси. Не от хорошей жизни в начале войны пришлось бороться с фашистскими танками бутылками. Но шло время,

в войска в изобилии начали поступать противотанковые гранаты, получила их и батарея Шепелева. А с бутылками не знали что делать. Командование дивизиона тоже не знало. Батарею перебрасывали с одного места на другое, вместе с пушками и снарядами возили и осточертевшие бутылки.

По прибытии на охрану станции Горбачи комбат распорядился ящики на огневую позицию не возить — всё равно рано или поздно их придётся куда-то отправлять. Ящики с бутылками сложили за будкой стрелочника, а так как военное имущество полагалось охранять, то возле бутылок учредили пост.

В просторной землянке девчат было душно, теплился огонёк мигульки, сделанной из снарядной гильзы. Девчата спали на нарах, кто свернувшись калачиком, кто разметавшись. Катьку Шепелев отыскал с краю нар, у печки. Рыжая её голова съехала с соломенной подушки, в сумерках белели литые плечи.

— Товарищ сержант, — заныла разбуженная Катька, натягивая до подбородка одеяло. — Мы с девочками договорились по четыре часа стоять. Сейчас ведь тепло.

— Как это «договорились»? Кто разрешил?! — возмутился Шепелев. — По уставу полагается по два.

— Так ведь спать хочется, — простодушно призналась Катька. — А пока сменишься, да пока ляжешь, опять вставать надо.

— Выспимся после войны. Поднимайся! Живее! Я выйду.

Катька вздохнула, не стесняясь Шепелева, опустила на земляной пол голые ноги, потянулась к юбке. В её действиях было столько покорности, столько трогательной беззащитности, что Шепелев неожиданно для себя с ласковой грубостью повалил девушку на нары, укрыл с головой одеялом:

— Чёрт с вами, стойте по четыре часа, если нравится...

Катька счастливо засмеялась, из-под одеяла донеслось:

— Товарищ сержант, какой вы милый!

Шепелев, сам себе не решаясь признаться, был доволен таким оборотом дела — у него появилась возможность проверить, как несёт караульную службу Лена. И в то же время он боялся высказать своё чувство. Это совсем ни к чему! Он командир, на военной службе, и всякие симпатии и антипатии обязан отбросить. Распусти вожжи, разнюнься, и эти девчонки на шею сядут. Нет, всё-таки мужиками командовать куда проще. Сержант в нерешительности остановился; может, не стоит на станцию идти? Пожалуй, не стоит. Лена — добросовестный солдат.

У второго орудия Шепелев побеседовал с дневальным, затем спустился в землянку КП. У железной печки трещали дрова. Дежурный по КП лейтенант Нистратов ругался по телефону с начальником станции.

— Да поймите вы! — кричал он в трубку. — У нас с вечера все пути забиты эшелонами. А сейчас ещё с танками прибыл. И разгружаться не думают! Какая великолепная цель для «Юнкерсов»!

Начальник что-то говорил в своё оправдание. Нистратов взъярился:

— Неужели, чёрт побери, мне вас учить! Да растолкайте эшелоны по разъездам и полустанкам!

Швырнув в досаде трубку, лейтенант поднял остроносое лицо на Шепелева.

— Послушайте, сержант, сходите на станцию и проверьте, разгружается ли хоть один эшелон. Этот, — он кивнул на телефон, — уверяет, что приступают к разгрузке. Врёт, подлец! Учат, учат нас немцы воевать, а мы всё благодушествуем.

Станция Горбачи осенью сорок первого была захвачена немцами. Во время подмосковной их оттуда вышвырнули. Фронт застыл в районе Мценска. В тихую погоду можно было различить вздохи артиллерии. Ночами, путаясь между звёзд, летели на запад наши самолёты, мигая над станцией бортовыми огнями — подавая условный сигнал, что в воздухе свои. По-волчьи подвывая, следовали на восток немецкие бомбардировщики, и тогда небо над Горбачами начинало пульсировать оранжевыми сполохами заградительного огня.

Эшелоны никто не разгружал. Первый путь занимали вагоны с лесом, второй — пульманы и цистерны, на третьем горбились платформы с зачехлёнными танками и броневиками. Часовой, заслышав шаги Шепелева, сердито его окликнул. Потом, спрыгнув на шлак, попросил закурить.

— Не было такого приказу, — ответил танкист на вопрос Шепелева о разгрузке. — Начальство спроси. Вон их вагон.

Вызванный из классного вагона офицер долго изучал в свете карманного фонарика красноармейскую книжку Шепелева. Возвращая её, ответил:

— Значит, вы местный зенитчик? Вот и охраняйте нас от стервятников. На то вас сюда и поставили.

Миновав ещё два неподвижных состава, сержант очутился возле будки стрелочника, и тотчас послышался грудной девичий голос:

— Стой! Кто идёт?

По тому, как весело и звонко была произнесена фраза, Шепелев понял, что Лена давно приметила его.

— Замёрзла? — спросил Шепелев как можно равнодушнее, хотя голос у него дрогнул.

— Немножко, — призналась Лена.

При свете ущербного месяца сержант разглядел и её белозубый улыбающийся рот, и блестящие глаза, которые в полутьме казались ещё больше, и ямочки на щеках, и забавные морщинки возле переносицы, которые всякий раз появлялись, когда девушка смеялась. Винтовка у Лены висела на плече, и кисти рук она затолкала в рукава.

— У тебя, что ж, перчаток нет?

— Не взяла. Тепло ведь было. Да и сейчас вон с будки капает. А вы тоже без перчаток.

— Так это я. Только в тридцатиградусный натягиваю.

— Подумайте, какой жаркий! — пропела девушка и, прислонив винтовку к ящикам, бесцеремонно схватила Шепелева за кисти рук. — Действительно, горячие. — И вдруг запихала свои руки в рукава Шепелевской шинели.

Это было так неожиданно, что Шепелев опешил. На его ладони легли тугие девичьи локти. А где-то там, в рукавах, ледяные ладошки Лены обхватили его локти. Так они и стояли молча, лицом друг к другу, потрясённые близостью.

«Я же тебе нравлюсь?» — допытывались глаза Лены. «Нравишься!» — отвечал взглядом Шепелев. «Неужели тебе не хочется меня поцеловать?» «Очень хочется! Но ты всё-таки на посту, а потом я всё-таки твой командир. И вообще ты сумасшедшая девчонка...»

— Знаешь, о чём я мечтаю? — тихо заговорила Лена, вглядываясь в лицо Шепелева — Окончится война. Я надену белый халат и буду в аптеке выдавать лекарства. Как мама. А вечером в лакировках пойду на танцы. Моё любимое танго «Утомлённое солнце...». Ты умеешь танцевать?

«На посту мечтать не полагается!» — хотел ответить Шепелев, и не ответил. Прямо перед его носом белел чистый лоб с витым локоном, выбившимся из-под цигейковой шапки, и пахло от этого завитка земляничным мылом. Шепелев почувствовал, что начинает терять власть над собой от этой близости, что сейчас схватит Лену за голову и начнёт целовать глаза, губы, щёки, локон... И девушка это поняла и замерла в робком и счастливом ожидании. Скрипнула дверь будки. Старуха-стрелочница в долгополом брезентовом плаще поверх пальто, похожая из-за этого на огромный колокол, заметила Шепелева возле девушки и с любопытством уставилась.

— Ну ладно, дежурь. Через час пришлю Катю, — пробормотал Шепелев, досадуя на себя и на любопытную старуху.

Он пролез под вагонами, легко вспрыгнул на тормозные площадки, перемахивая через какие-то ямы, а в нём всё пело и ликовало: есть на свете человек, которому он, Шепелев, не безразличен, который о нём думает и он будет думать об этом человеке. Впрочем, он давно уже о ней думает.

Далеко на востоке крутился луч прожектора, на запад пролетел наш самолёт, замигал огнями над станцией. Небо предрассветно начало синеть. В землянке КП печка уже прогорела. Нистратов, заслышав шаги Шепелева, заворочался на топчане, высунул сонную голову из-под шинели:

— Не разгружаются? Ну, даст нам сегодня немец прикурить!

Лейтенант точно в воду глядел.

* * *

Проснувшись в землянке первого орудрасчёта после короткого сна, Шепелев несколько минут лежал неподвижно,

наслаждаясь светлым чувством какой-то радости от сознания, что в жизни у него произошло удивительное событие. Лена! Леночка! Алёнушка! Милая ты моя!

В это утро он особенно тщательно брился, переменил подворотничок и всё мурлыкал себе под нос «Синий платочек», чем немало удивил орудийщиков, занятых утренней чисткой пушки и снарядов. Когда брился, долго критически обследовал в круглое зеркальце свою физиономию. Она ему не понравилась: немного скуластая, с бесформенным носом, белёсыми ресницами вокруг серых глаз... Ничего выдающегося!

Но вообще в то утро Шепелеву многое казалось прекрасным: и пронзительно синее мартовское небо, и повариха Дуся, рослая и нескладная девица, шлёпнувшая в его котелок чуть не полный черпак каши, и лейтенант Нистратов, распекавший за какое-то упущение помкомвзвода. Мысли сержанта всё время были о Лене, он быстро высчитал, что девушка вновь заступила на пост и сменится ровно в двенадцать дня.

Девчата приборного отделения были заняты чисткой матчасти, и когда сержант, бодро поздоровавшись с ними, спрыгнул в ровик, как-то особенно посмотрели на него, как показалось Шепелеву, кое-кто понимающе улыбнулся.

День начался как обычно — с учёбы. А вскоре разведчик у КП забрякал в рельс и крикнул: «Тревога! С запада „Хенкель!“»

По «Хенкелю» дали в четыре залпа. Он сделал крутой вираж над станцией и повернул на запад. Возле КП Нистратов спорил с комбатом. Комбат приказал приступить к чистке орудийных стволов — обычной процедуре после стрельбы, а Нистратов советовал обождать:

— Чует моё сердце, товарищ старший лейтенант: вот-вот нагрянут гости. Неспроста «Хенкель» прилетал!

— Чутьё бывает обманчивым, — заметил комбат, но приказ отменил. — Продолжайте занятия!

Из землянки девчат с винтовкой и противогазом через плечо выскочила Катька, лихо щёлкнула перед Шепелевым каблуками:

— Разрешите сменить на посту красноармейца Голубеву?

— Идите! — разрешил сержант, еле сдерживая улыбку.

Катька лукаво стрельнула в Шепелева глазами и вылетела из ровика. Вот её ладная фигурка пересекла поле с редкими проталинами и скрылась за стволами пристанционных вековых тополей.

Нарастающий мощный гул различили на батарее не сразу — помешал рёв танковых моторов: на станции шла полным ходом разгрузка эшелона. Фашистские самолёты зашли со стороны солнца. Запоздалый бряк в рельс слился со свистом и воем пикирующих «Юнкерсов-87» — одномоторных маневренных бомбардировщиков.

Загрохотали пушки. Шепелев с девчатами не успел даже сбегать в землянку за винтовками, как пронзительный визг бомб бросил их на землю ровика. Тугие воздушные волны от разрывов словно прессом сдавливали тело, обрывали дыхание, комья льда и земли барабанили по спинам. «На станции Лена! На станции Лена!» — стучало в висках сержанта.

Налёт продолжался не более пяти минут. Когда всё стихло и Шепелев распрямился, то не узнал ни батареи, ни станции: горы развороченной земли, второе орудие было укороченным — осколки пробили накатник, и ствол рухнул на платформу,

валялся искорёженный дальномер. А высоко над станцией клубился краями и расплывался вширь огромный гриб дыма — горела цистерна с нефтью, с хворостяным треском рвались патроны в пылающих вагонах.

Шепелев, не чуя под собой ног, бежал к станции. «Там Лена! Там Лена!» — били молоточки в висках. Но с приближением задымлённых тополей ботинки сержанта вдруг превратились в двухпудовые гири: Шепелев увидел бредущую навстречу ему Катю. Катька была без шапки, рыжая голова странно дёргалась, винтовку она волочила за ствол по грязи.

— Где Лена? — выдохнул Шепелев.

Бледная и чумазая, Катька ничего не ответила, только шевелила губами и всё что-то старалась проглотить.

— Что с Леной?! — заорал сержант и рванулся было мимо Кати, но девушка, бросив винтовку, грохнулась к его ногам, обхватила Шепелева за колени и забормотала точно в бреду:

— Товарищ сержант, милый, не ходите туда! Не надо!

— Встаньте немедленно! — приказал сержант, пытаясь оторвать Катькины руки, но та держалась крепко и всё выкрикивала в исступлении:

— Не надо! Не ходите! Миленький!

Сзади послышались торопливые шаги: военфельдшер с двумя солдатами спешили на станцию. Вглядевшись в Катькино лицо, доктор приказал:

— Ведите девушку на батарею, сержант. Она невменяема.

Шепелев вёл под руку дрожащую Катю и чувствовал, что какое-то странное безразличие, словно туманом, охватило всё его существо. Он равнодушно прошёл мимо угловатого хвостового оперения с чёрной свастикой, валяющегося возле

третьего орудия — снаряд отсёк хвост у «Юнкерса». Сам самолёт дымился где-то возле станции. Будто во сне Шепелев помогал орудийщикам таскать снаряды со склада, потом помогал девчатам своего расчёта наводить порядок в ровиках. Девушки подавленно молчали, украдкой бросая на своего командира сочувственные взгляды.

Со стороны станции показались солдаты с носилками, на которых плотно укрытое плащ-палаткой лежало что-то длинное и неподвижное. Носилки поставили за кухней, возле поленницы.

Едва Шепелев направился к страшным носилкам, как на его пути вновь выросла Катька, ухватилась за отворот шинели:

— Товарищ сержант, не ходите, прошу вас! Не надо!

Осторожно сжав кисти рук девушки, Шепелев решительно отвел их:

— Должен же я, Катюша, проститься? Как ты считаешь?

Катя, неохотно соглашаясь, слабо кивнула. Шепелев с минуту постоял над носилками, точно собираясь с духом, а потом резко отдёрнул плащ-палатку. То, что он увидел, его потрясло: на Шепелева пустыми глазницами глядел чёрный от копоти череп с треугольным отверстием вместо носа. Только зубы, великолепные зубы верхней челюсти, блестели на солнце снежной белизной. Нижней челюсти не было, как не было и кистей у рук. Торчали чёрно-синие култышки, согнутые в локтях, точно труп всё ещё защищался от осколков и пламени. И это были те самые руки, которые он, Шепелев, всего несколько часов назад ласкал и грел своими ладонями.

Много смертей довелось повидать Шепелеву во время войны — и при отступлении от границы в сорок первом, и потом, при победных сражениях, но никогда такой страшно обнажённой... Сержант опустился на какой-то чурбан. От кухни его увела всё та же Катька. Она что-то говорила, шмыгая носом и тихонько, по-бабьи, поскуливая в скупом плаче. Шепелев слушал её и не слушал...

Вечером Лену хоронила вся батарея. Углубили одну из воронок, опустили в неё гроб, сколоченный батарейными умельцами из досок снарядных ящиков, замполит произнёс короткую речь, одно из орудий грохнуло выстрелом прощального салюта, и вырос в поле глинистый холмик с латунной звездой на фанерном обелиске — один из миллионов холмиков, что в изобилии росли в те годы на земле России. А где-то в далёкой Костроме забьётся в рыданиях женщина в белом халате провизора.

Пройдут годы, сравняют бульдозеры под весенний сев поле с орудийными ровиками и траншеями, сгладят и глинистый осевший холмик. Заколосятся на поле хлеба. А девичье имя засияет бронзой на мраморной плите среди прочих имён братской могилы на станции Горбачи.

На батарее объявили отбой, у орудий и складов замаячили часовые, а Шепелев всё бродил между воронок и траншей. Непонятная сила погнала его на станцию, где всё ещё что-то горело и слышались голоса команд. Шепелев миновал бесхвостый «Юнкерс» с задранными кверху шасси с обтекателями, словно лапы ощипанного петуха, покосился на обгорелые трупы двух лётчиков, обошёл обуглившиеся платформы с провалившимися на них бронемашинами и очутился у будки стрелочника.

Будка уцелела, только была закопчёна и иссечена осколками. Шепелев застыл возле обширного чёрного пятна углей,

в свете луны блестело спёкшееся стекло бутылок. У будки, как сутки назад, скрипнула дверь.

— И, касатик! — заныл голос узнавшей его старухи. — Пришёл! А кралюшки-то нету! Сгорела! Как начали бонбить, я в канаве схоронилась, ей маячу: давай сюды! А она головкой мотает: дескать, нельзя. Тут её, голубушку, видать, враз и ранило, и облило жидкостью. Она по земле катышком по первости каталась, а пламя выше будки...

— Замолчи! — крикнул Шепелев и, не разбирая дороги, помчался на батарею.

У первого орудрасчёта к нему метнулась тёмная фигурка — опять Катька! — и протянула мягкий узелок. Она ничего не сказала. Повернулась и побежала к своей землянке.

Ничего не понимая, Шепелев машинально развернул узелок, и его бросило в жар: на рукав шинели из синего в белый горошек платка выскользнула девичья коса. Та самая!

Торопливо, точно опасаясь, что кто-то подсмотрит, сержант проворно завернул косу и спрятал на груди. В землянке все спали. Не снимая шинели, Шепелев повалился на топчан и, развязав узелок, уткнулся в него лицом. Волосы щекотали нос и губы. От косы пахло земляничным мылом. «Не хочу распадаться на элементы таблицы Менделеева!» Кто это говорил? Почему люди убивают друг друга? Кому это надо? Зачем войны на земле? Шепелев в бешенстве кусал губы, стараясь сдержать рыдания, но они против его воли прорывались в виде протяжных и мучительных стонов.

ГДЕ ТЫ, ШУРА? Рассказ

У меня в столе лежит карманный фонарик с цветными фильтрами. Нажмёшь на одну кнопку — выдвигается красный фильтр, на вторую — зелёный. Есть и синий фильтр. Этот фонарик фашистского регулировщика, который пропускал на нашу землю танки и автомашины и кости которого догнивают где-то на Псковщине. На сером корпусе фонарика, очевидно гвоздём, выцарапана надпись: «Коли от Шуры». Так и написано — «Коли».

* * *

Шуру я впервые увидел ранним мартовским утром, когда наш истребительный полк противотанковой артиллерии на механической тяге, проделав ночной стокилометровый бросок по рокадной* дороге, углубился в лес.

Согласно приказу штаба нашей батарее предстояло квартировать в деревне Малиновка. На карте Малиновка значилась, а на местности из-под тронутых солнцем сугробов торчали лишь закопчённые печные трубы да сухие кусты репейника — обычная картина после фашистского нашествия.

Пока комбат с командирами взводов и старшиной Дунаевым думали да гадали, где и как разместить людей и технику, наводчик нашей пушки, разбитной Витька Кузнецов, успел слетать в лес, что чернел в трёхстах метрах, и, вернувшись, объявил комбату:

— Товарищ лейтенант, деревня вся туда переселилась.

---

* Дорога, проходящая параллельно линии фронта.

А нашему командиру орудия, усатому сибиряку Мамонову, шепнул:

— Сержант, я там землянку присмотрел. Во землянка! И живёт в ней только девчонка-пацанка.

Загнав неуклюжие студебеккеры с орудиями под полог еловых ветвей опушки, мы направились к землянкам, которые белыми горбами возвышались между сосновых стволов. Когда шурша промёрзшими плащ-палатками, спускались по обледенелым ступенькам облюбованной Витькой землянки, навстречу метнулось быстроногое существо. В свете спичек я успел разглядеть залатанный платок и ватник с подвёрнутыми рукавами, валенки, подшитые розовой немецкой резиной.

— Дорогуша, куда же ты? — запел Витька. — Оставайся, не обидим! Нам теплее будет!

«Дорогуша» сверкнула на Витьку тёмными глазами и растаяла среди горбов.

В довольно просторной землянке виднелись нары, чернела плита, был стол со скамейками и немудрёная посуда. Озябшие и усталые, мы повалились кто где.

Проснувшись раньше всех, я умылся снегом и побрёл по петляющей меж деревьями тропинке к опушке. Возле поваленной сухой ёлки дымила походная кухня, около неё с трубкой в зубах, сидя на чурбаке, блаженствовал на солнышке повар Михайлыч, а вдоль ствола ходила та самая девчушка и сноровисто обрубала сучья для топки. Михайлыч был лодырь и при случае всегда вербовал себе помощников. Так, по всей видимости, обстояло дело и сейчас.

— Ай, Шуренька! Ай, умница! — нахваливал повар, попыхивая трубкой. — Как это у тебя ловко получается! Значит, говоришь, отец ещё в сорок первом погиб, а маманя через год померла? Ах, проклятый фриц, сколько горя принёс, сколько сирот наделал! Потом, доченька, сходи к роднику за водой. Уважь старика. Что-то поясницу мне заколдобило, знать — к перемене погоды. А каша поспеет — тебе первый котелок!

Увидев меня, Михайлыч возликовал:

— Вот и кавалер объявился! Как спалось? Я тут кумекаю: кто поможет наготовить дров к обеду?

Необычайно проворно для больной поясницы соскочив с пня, повар вытащил из кузова студебеккера двухручную пилу и торжественно вручил мне:

— Давай-ка с Шуркой на пару!

И вот мы пилим ёлку. От морозца и работы Шурины щёки заалелись, на коротком носу проступили бисеринки пота. Девочке было на вид не больше пятнадцати, и глаза оказались у неё совсем не тёмные, а голубые, в опушке густых ресниц. Заметив, что я её слишком пристально разглядываю, покраснела ещё больше и вдруг объявила басом:

— А у нас здесь Пушкин бывал!

— Какой Пушкин?

— Александр Сергеевич, — она махнула варежкой на запад. — Там Пушкинские Горы и его могила. Они ещё под немцами. В реке Великой Пушкин купался, верхом на лошади проезжал...

Наготовив дров, мы присели на чурбаки. Шура расстегнула ватник и размотала платок. Русые волосы посыпались по плечам.

— Тащите посуду! — крикнул Михайлыч, мешая в котле. — Впрочем, обождите (у повара возникло опасение, что,

отправившись за котелками, мы можем не вернуться, и тогда воду придётся таскать самому). Сейчас, голубки, сейчас... Покопавшись под брезентом, что укрывал всевозможные хозяйственные вещи батареи, он вынул свой котелок и бухнул в него полный черпак. Потом, опасливо оглянувшись на студебеккер, где в кузове спал старшина, вытянул ящик, в котором находились офицерские доппайки, и положил нам в кашу полную ложку сливочного масла.

Прижавшись друг к другу коленями, мы с Шурой завтракали. Вручая котелок, Михайлыч провёл ложкой по каше диаметр — границу — и объявил, как маленьким:

— Энта половина её, а энта — твоя! Не ссортесь, ребятки!

Шура посмотрела на меня и смешливо фыркнула. Михайлычева граница постепенно стиралась, и это забавляло девчонку.

Батарея между тем просыпалась. К походной кухне, звеня котелками, потянулись солдаты. На тропинке показался наш орудийный расчёт.

— Вы только посмотрите на этого ловкача! — заорал Витька. — Захороводил девку! А я проснулся и не пойму: куда подевался наш заряжающий? Ну ловкач!

И мы с Шурой тотчас оказались в центре внимания: посыпались шутки, остроты. Впрочем, нас быстро оставили в покое — забыли. Кто такая Шура? Малявка, пацанка, от горшка два вершка. В полку были девчата — телефонистки да радистки — кровь с молоком!

Покончили с дровами, Шура сбегала за коромыслом, и мы отправились по воду. Ключ, из которого брала воду вся деревня, находился в неглубоком ложке, затянутом кустарником. Я наполнял вёдра и по ледяным ступеням поднимал наверх. Шура необычайно ловко подхватывала их на крючья коромысла и проворно уносила к походной кухне. Потом она носила воду соседке, которая болела. Пытался было я встать под коромысло, но вёдра у меня стали раскачиваться, и Шура, насмеявшись, решительно его отобрала.

Девочка оказалась малоразговорчивой. «Да» и «нет» — вот в основном её ответы. Только после пяти или шести рейсов с вёдрами, когда она угнездилась на пне передохнуть, спросила низким голосом:

— Если я мыло попрошу у старшины, он даст?

— Как не даст! А чем вы при немцах мылись?

— Чем? Щёлок делали. Из золы, — ответила Шура. — Иди, там тебя ищут. Учёба какая-то.

К великому удовольствию Михайлыча, Шура прижилась возле походной кухни. Охотно драила котёл после варки обедов, чистила картофель, готовила дрова. В её присутствии самые отъявленные матершинники выбирали выражения. Шуру полюбили.

А спустя несколько дней я оказался свидетелем решения судьбы Шуры. Старшина Дунаев вместе с Михайлычем обратились к комбату с просьбой оставить девочку при батарее.

— Нечего мне детсад устраивать, — ответил комбат, — в детдоме ей место.

Так бы, вероятно, и поступили, но разговор услышал подошедший командир полка. Расстёгивая полушубок, чтобы достать папиросы, майор некоторое время с интересом наблюдал, как Шура чистит после каши котёл, потом сказал:

— А что, лейтенант, резон здесь есть. Почему бы не иметь нам дочь полка?

— Девчонке учиться надо...

— Март уже начался. Через пару месяцев в школах каникулы. В общем, зачислить и обмундировать. А осенью видно будет. На передний край не пускать.

Так Шура стала солдатом, а точнее — помощником повара.

Вскоре батареи полка выдвинули на огневые позиции к линии фронта, находящейся в двух километрах. Стояло затишье. По-весеннему терпко пахло хвоей, в чаще звенели зяблики. Будто и войны нет.

Наше орудие — 76-миллиметровую пушку — вёрткий «Виллис» выволок поздно вечером на крутой берег реки Великой, той самой, в которой, по словам Шуры, купался Пушкин. К рассвету мы выдолбили в мёрзлой земле огневую позицию и укрытие для орудрасчёта в виде узкой щели, похожей на могилу, и, замаскировав позицию снегом и еловыми ветками, устроились спать кто возле станин, кто на ящиках со снарядами.

Немецкий передний край находился на другой стороне реки — низменной равнине. Всю ночь, пока мы ковырялись в земле, мимо шли пехотные подразделения, спускались на лёд. Немцы беспрерывно пускали ракеты — беспокоились. За их передним краем, в тылу, там и сям пульсировало на низких тучах багровое пламя горящих деревень.

На рассвете из наших тылов ударила артиллерия, и над головой на разные голоса запели, засвистели, зачуфыкали снаряды — началась артподготовка.

— Симфония войны, — заметил Витька, позёвывая до хруста в челюстях. — Будь она проклята!

— К орудию! — скомандовал Мамонов.

Мы открыли огонь по выявленным накануне дзотам.

Гул, грохот, дым...

Подавая снаряды, я мельком глянул вниз. В открытых за ночь снежных окопах стыла пехота, наблюдая за артподготовкой. Но вот орудийное разноголосье покрыл нарастающий гул: над нами засвистели огневые пунктиры, а через мгновение на фашистских окопах выросла чёрная стена разрывов снарядов «Катюш». Огонь стих. Немцы начали отвечать торопливой и беспорядочной стрельбой.

— Поднимайсь! Пошёл! — послышалось из снежных окопов. Примчался наш «Виллис», с него спрыгнул командир огневого взвода, крикнул:

— Цепляйте пушку, хлопцы! И на ту сторону Великой!

В тот день мы продвинулись километра на два. Немцы контратак не предпринимали. В сводках наше наступление уложилось в трёх словах: «бои местного значения».

Усталые и голодные, мы прождали обед и ужин, а рано утром следующего дня Мамонов приказал мне:

— Шагай-ка, парень, в тыл на кухню да обматери этого пердуна Михайлыча, а заодно и старшину.

— В ухи врежь Михайлычу, — посоветовал Витька. — Вначале в правое, а потом в левое.

В «ухи» бить Михайлыча не пришлось: накануне «Мессершмитт» из сопровождения «Юнкерсов», которые возвращались после бомбёжки наших тылов, изрешетил походную кухню и легко ранил повара в плечо. Кухню старшина позаимствовал у соседней батареи, но там вначале накормили своих солдат.

Одним словом, когда я заявился, горя желанием поругаться, Дунаев накладывал для нас в термос кашу, приправленную консервами. Шуру я едва узнал: была она в укороченной

шинели и шапке, щёки краснели помидорами. Суровая и важная, Шура выдавала табак, сахар, сухари. Увидев меня, она сбросила свою суровость, заулыбалась и, украдкой вынув из кармана круглое зеркальце, начала прихорашиваться. Старшина воскликнул:

— Это здорово, что ты пришёл! Понесёшь своим обед. Вон, Шурка тебе подсобит. Больше некому.

И мы, преодолевая разрушенные траншеи и воронки, бредём к линии фронта. Миновали дощатый настил переправы через Великую, в которой полтораста лет назад купался Пушкин. Лёд побурел, но был ещё крепок. У Шуры за плечами вещмешок с буханками хлеба и водой, а у меня — термос. Девчонка будто колобок катится за мной, пыхтит, но не жалуется на усталость.

— Может, передохнём? — предлагаю я и опускаюсь на край разрушенного окопа.

Шура не возражает, располагается рядом. На дне окопа плавает в весенней воде рогатая немецкая каска, валяется драная шинель, а рядом — ранец из телячьей кожи. Шурка тянет его к себе, заглядывает внутрь. Он пустой, если не считать карманного фонарика с цветными стёклами, видимо, принадлежащего регулировщику. Девчонке фонарик понравился. По-детски раскрыв пухлые губы, она нажимает на кнопки, меняя фильтры — красный, зелёный, синий... фонарик почти не светит — села батарейка. А мне немного досадно, что не я его нашёл. Шура это подмечает и, поддразнивая меня, вертит фонарик в руке, головкой и плечиками задорно покачивает: вот-де что у меня...

Вскоре её внимание привлекает какой-то предмет, она выколачивает его каблуком из мерзлой глины. Наша «лимонка»! Подобная находка для фронта не новость.

— А как её бросают? — спрашивает Шура, с любопытством разглядывая гранату.

— Очень просто, — отвечаю я и вдруг замечаю, что граната с запалом, а сбоку нет скобы. Видимо, за годы войны её конструкцию упростили. — Надо выдернуть за кольцо чеку и бросить.

Дальнейшее произошло в считаные секунды: Шурка, бездумно подчиняясь моим словам, спокойно выдернула кольцо, что-то звонко щёлкнуло. В следующее мгновение я кинулся к девчонке, выхватил гранату, швырнул, а Шурку повалил в окоп. Ахнул взрыв, нас обдало вонючим воздухом и брызгами льда и земли.

— Дура! — закричал я и, не сдержавшись, закатил девчонке оплеуху. — Жить надоело?

Шура, испуганно округлив голубые глаза, растерянно смотрела на меня. Постепенно её лицо налилось краской, губы надулись:

— А чего дерёшься?

Нет, вы только подумайте: нас обоих по её милости чуть не разорвало, а она — «чего дерёшься?»!

— Да тебя выпороть надо! Спустить ватные штаны и всыпать!

Мы поднялись и направились дальше. Шура плелась сзади, обиженно шмыгая носом.

— Больно? — поинтересовался я.

— А то нет... — буркнула она и вдруг, ойкнув, захохотала.

Я в недоумении остановился, а девчонка от смеха даже не могла стоять и всё указывала рукой мне на спину. Оказалось, осколки злополучной гранаты продырявили двойные стенки

термоса, и каша текла по моему заду. Пришлось дырки затыкать бинтом из индивидуального пакета.

— Ничего смешного не вижу, — заметил я, очищая шинель. — Ты виновата, что покалечили термос. Задаст тебе старшина!

Но Шурка долго не могла успокоиться. Шагаем, шагаем, а она опять — ха-ха-ха! Так и добрались до расположения нашей пушки.

Конечно, термос, а особенно бутылки, вызвали великую радость. Витька даже обнял Шуру, закрутил, хотел поцеловать.

— Убери лапы! — последовал суровый окрик.

— Гляди-ка, какие мы недотроги! — подивился Витька под общий смех всего орудрасчёта. — Вот пигалица!

— Подставляйте котелки и кружки! — сурово скомандовала Шура.

Мне Шура положила кашу самому последнему. «Обиделась за оплеуху», — подумал я, наблюдая, как проворно снуют руки в подвороченных рукавах шинели. Но вот в мой котелок шлёпнулись остатки каши, и было в ней столько мяса, что меня невольно смутило: «Зачем это она?» — растерянно думал я, устраиваясь на станине и вынимая из обмотки ложку. Вот чудачка!

Сложив в термос мешок и поварёшку, Шура отправилась в обратный путь, сопровождаемая советами всего расчёта: «Будь осторожна, кнопка», «На открытой местности пониже пригибайся к матушке-земле».

А вскоре меня тяжело ранило. Накануне вечером Мамонов, вернувшись от комбата, объявил:

— Собирайте, товарищи-славяне, манатки: переезжаем на новое место!

Новое место оказалось на холме всего в полукилометре от переднего края. Когда-то тут была деревня, но война смела её, даже печные трубы не торчали. «Виллис», волоча в темноте нашу пушку, долго переваливался через какие-то рвы и ямы, наконец остановился возле срезанной снарядом берёзы.

— Тут будет ваша огневая! — объявил командир огневого взвода, ехавший с нами. — Разгружайте, орлы, снаряды, да поживей!

Лейтенант только недавно прибыл к нам из училища. Это был храбрый и энергичный офицер, но войной не обкатанный, а потому самоуверенный.

Мамонов заметил:

— Не годится, товарищ лейтенант, это место — берёза — ориентир для немцев, да и сектор обстрела не совсем удачный...

— Поменьше рассуждайте! — последовал ответ.

И произошло то, чего мы больше всего опасались. Взявшись за ломы и лопаты, довольно споро углубились на два штыка, и бруствер соорудили, и даже щель укрытия до пояса выдолбили, как в темноте замаячил белый полушубок командира батареи, позади шёл вестовой с автоматом.

— Так, ребята, не пойдёт! — решительно объявил комбат, останавливаясь возле пушки. — Ваш сектор стрельбы не перекрывает сектор соседнего орудия! Кто выбрал позицию? Лейтенант? Ко мне его! — приказал он вестовому.

Вместе с прибежавшим лейтенантом комбат отправился выбирать новое место под огневую позицию. Из темноты доносился его раздражённый голос:

— Чему вас только в училище учили? Хоть бы с Мамоновым посоветовались! Он старожил полка.

Витька, зло швырнув лом, помянул бога и мать, полез за табаком:

— Правильно нашу противотанковую окрестили «Прощай, Родина!».

— Разговорчики! — прикрикнул на Кузнецова Мамонов, но было видно, что он и сам раздосадован.

Спустя час засинел восток, а мы ещё не сняли верхнего слоя мёрзлой земли, хотя за лом взялся лейтенант. Стало ясно, что до рассвета нам огневую позицию не оборудовать. Немцы на переднем крае начали чаще бросать ракеты, постреливать из пулемёта трассирующими очередями. Приходилось затаиваться.

Вновь появился командир батареи, наблюдал за работой, потом подозвал лейтенанта и Мамонова. Втроём они долго ходили по буграм, о чём-то совещались.

— Вот что, ребята, там под снегом мы здоровенное бревно обнаружили, видимо от сгоревшего дома уцелело, — сказал командир огневого взвода, — тащи его сюда, вместо бруствера будет.

Кондовое бревно чуть не в два обхвата мы выдолбили из земли и еле припёрли впятером, уложили его перед пушкой, а чтобы оно не скатилось под угор, укрепили с наружной стороны валунами. Новая огневая позиция была хороша тем, что в нескольких шагах находился блиндаж, когда-то принадлежавший немцам. В нём размещался узел связи, дремали возле железной печки сапёры.

— Не так уж плохо, славяне, — объявил Витька, присаживаясь на худое перевёрнутое ведро возле печки и разматывая портянки с намерением их высушить. — И покемарить часок-другой совсем не грех. Так, товарищ сержант?

— Наряд вне очереди тебе, баламуту, полагается, — пробурчал Мамонов, протягивая ладони к печке. — Почему не замаскировал пушку и раньше других смотался?

— А чем?

— Соломой и снегом. Всё на дядю надеешься.

В углу блиндажа, где разместились две девушки, зазуммерил телефон.

— Ромашка! Я — Ромашка! — тонким голосом зачастила в трубку дежурная. — Всё в порядке, товарищ Третий!

На ступеньках послышались торопливые шаги, и в блиндаж скатилась Шура, запыхавшаяся, с термосом за плечами. На неё дружно набросился весь орудрасчёт.

— Кто тебя, кнопка, послал?

— Почему Михайлыча старшина бережёт? Ведь у него не рана, а царапина.

— Вот что, дочка, — решительно объявил Мамонов, помогая Шуре снять термос с завтраком. — Катись-ка немедля колобком: фашисты вот-вот атаку начнут.

— А термос... — попробовала возражать Шура.

— Марш отсюда! — гаркнул Мамонов.

Он хотел ещё что-то добавить, но у входа в блиндаж разорвался снаряд, из-под накатника дождём посыпались пыль и земля. За ним ещё и ещё...

— Артиллеристы! — крикнул часовой у входа. — Немецкие танки!

Мы вылетели из блиндажа. Из-под горы в сиреневой дымке утра широкой подковой ползли танки. У концов дул посверкивали вспышки выстрелов. Пехоты не было — её отсекли наши солдаты переднего края.

Согласно уставу, пушку должны обслуживать шесть человек. Но горький опыт войны научил обходиться втроём: один наводит и бьёт по лапке спуска, второй заряжает, третий подносит снаряды. Остальные сидят в укрытии и заменяют вышедших из строя.

Мы с Витькой Кузнецовым и подносчиком Петровым первыми очутились у пушки. Витька, бешено вращая штурвальчики наводки, взвыл: ствол лёг на бревно, и линия выстрела оказалась выше ползущих из-под горы танков.

— Откатывай к чёртовой матери бревно! — вопил Кузнецов.

Вместе с Петровым я бросился к бревну, но по нам хлестанула пулемётная очередь, а от дерева полетели щепки. На четвереньках, опёршись спинами в проклятое бревно, мы изо всех сил старались хоть на сантиметр сдвинуть его. Тщетно: мешали валуны, подпиравшие бревно с наружной стороны.

Наши усилия увидел Мамонов. Вместе с двумя другими солдатами он рванулся от блиндажа к нам, и все трое наткнулись на зелёную трассу очереди. А гул танковых моторов приближался. И тут к бревну подкатилась Шура. Из-за малого её роста фашистский пулемётчик не сумел срезать девчонку. Под отчаянным натиском трёх спин бревно подалось, перевалилось через валуны и даже откатилось шага на два. Этого было достаточно. Гул танкового мотора совсем рядом, дрожит земля.

— В укрытие! — заорал нам Витька. В два прыжка я достиг ближайшей воронки, успев заметить, как серая громада танка замерла перед бревном, а затем начала медленно переваливать через него. И тут грохнул выстрел нашей пушки.

В воронку я свалился прямо на Шуру. Она болезненно ойкнула. Подносчика с ней не было, видимо побежал в блиндаж.

А что же с Витькой? Я осторожно высунулся из воронки. Внизу, под горой, танки, огрызаясь редкими выстрелами из орудий полка, пятились. Два танка горело. А по всей линии окопов переднего края шла яростная стрельба: наши солдаты не давали подняться немецкой пехоте.

Витька полз к нам. Он скатился в воронку грязный, возбуждённый и невредимый. Цыкнул на Шуру, которая вознамерилась было выглянуть из воронки. Воскликнул:

— Видал, как вдарил гаду?! Прямо в задницу!

«Гад» между тем, как свинья на заборе, сидел верхом на нашем бревне, которое застряло у него между гусениц. Танк бешено крутил уцелевшей гусеницей, пытаясь слезть с бревна, но только поднимал фонтан земли. А из-под горы к нему на выручку полз другой танк, видимо намереваясь взять на буксир.

— Женька! Дьявол! — чуть не рыдал Витька. — Неужели не видит? Ведь танки к нему сейчас боком!

Но второму орудию, которым командовал Женька и которое было от нашего метрах в ста, своих дел хватало.

Потеряв надежду избавиться от бревна, танк начал ворочать башней и, точно слон хоботом, принюхивался пушкой, выискивая цель. Он бахнул по нашему полуразрушенному орудию, потом, заметив ход в блиндажах, пустил снаряд туда.

У меня всё оборвалось внутри: ведь там притаились девчата-телефонистки, сапёры, наш Петров! Может, ранены, но ещё живые Мамонов и другие ребята!

— Бегу туда! — решительно объявил Витька и приказал мне: — Отсюда — никуда! Следи за этой пигалицей, — и он ящерицей пополз ко второму орудию.

И в этот момент Женькино орудие ударило по «нашему» танку, а затем и по другому. Оба густо задымили. Но тут с Шурой мы с ужасом увидели, как от близкого взрыва подкинуло Витькино тело в жёлтом полушубке, воздушная волна просвистела над нами, сдавила дыхание.

— Витю убили! — заголосила Шура и выскочила из воронки.

Я рванулся следом, успел схватить девчонку за плечи, и в тот же миг, словно поленом, меня хлестануло пулемётной очередью по ногам, и мы полетели обратно в воронку. Дикая, нарастающая боль в голенях, звон в ушах. Надо мной чумазое лицо Шуры и её плачущий голос:

— Это я! Я виновата! Господи, что я наделала!

Опомнившись, она спешно стала шарить по своим и моим карманам в поисках индивидуального пакета, потом начала бинтовать мои ноги, что-то причитая. А меня точно поместили под стеклянный колпак: все звуки странно отдалились, боли почти не чувствовал. Стрельба стихла — танковую атаку полк отбил.

Шура вытянула меня за воротник шинели из воронки и поволокла ползком по комьям и кочкам. Вскоре я увидел над собой батарейного санинструктора. Прибинтовывая к моим перебитым ногам палки, он говорил Шуре:

— Шок у него, понятно? И не реви! А дуй-ка на батарею за машиной и больше здесь не появляйся!

Потом я лежал на дне кузова мчащегося ЗИСа. Это была пытка: пятки ног подпрыгивали на полу, сломанные кости голени скрипели. Вначале терпел, затем стал орать и стучать по кабине. Машина остановилась, над бортом выросла голова Михайлыча:

— Чего разорался? Ведь в тыл поедешь!

— Положи мои ноги на колени к себе! — взмолился я.

Михайлыч с неохотой покинул кабину. Однако помощи от него было мало.

ЗИС затормозил возле полковой санчасти. Военврач, мельком глянув на меня, сунул шоферу направление: «В санбат!» А через борт перевалилась Шура. Она села, решительно отобрала мои ноги у Михайлыча и как-то мягко, по-женски взяла их себе под мышки. Машина тронулась. Страшного скрипа костей я больше не ощущал. А Шура не сводила с меня полных сострадания глаз. Я морщился, когда машину встряхивало, и девочка морщилась. Я силился улыбнуться Шуре, и она кривила дрожащие губки в улыбке. Она делала героические усилия, чтобы не разреветься.

В густом лесу возле огромной брезентовой палатки машина остановилась. Гренадёрского роста санитары ловко подхватили носилки. Шура заметалась, путалась под ногами. Её прогоняли. Но она, держась за носилки, вошла в палатку, а когда их поставили на земляной пол, присела на корточки, что-то быстро сунула мне под шинель, ткнулась холодным носом в щёку и вдруг заплакала в голос. Шуру вытолкали. Взревел мотор ЗИСа...

Когда меня после операции внесли в палатку с двухъярусными нарами, на которых белели подушки и простыни, вошла круглолицая медсестра.

— Это ваш? — Она протягивала карманный фонарик.

* * *

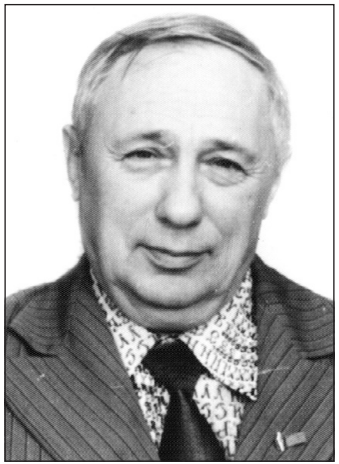
Фонарик прошёл со мной по многим фронтам и госпиталям. В его корпусе (осевшую батарейку выбросил) я хранил комсомольский билет и негустую солдатскую зарплату.

Много разных вещей с тех пор пришло и ушло от меня. Никогда я о них не жалел, но драгоценнее фонарика с милой малограмотной надписью у меня ничего нет и не будет. Где ты, Шура, землячка великого Пушкина?

СОДЕРЖАНИЕ

Синие окна. *Повесть*
Глава 1 5
Глава 2 15
Глава 3 31
Глава 4 40
Глава 5 43
Глава 6 50
Глава 7 66
Глава 8 73
Глава 9 85
Глава 10 95
Глава 11 110
Глава 12 124
Глава 13 141
Глава 14 148
Глава 15 151
Глава 16 162
Глава 17 176
Глава 18 196
Глава 19 214

Девчата. *Рассказ* 242
Где ты, Шура? *Рассказ* 267



Константин Петрович МАКСИМОВ

Родился 11 ноября 1923 года в городе Цивильск Чувашской АССР. Участник Великой Отечественной войны.

В июле 1941 года — курсант Горьковского военного училища зенитной артиллерии. С мая 1942-го участвовал в боях на Орловско-Курской дуге. В 1943 году сержант-артиллерист К. Максимов с бойцами отражал фашистские налёты зенитной артиллерией на станции Горбачёво Тульской области. За уничтожение самолётов противника награждён орденом Славы III степени, который был вручён в декабре 1947 года. Кавалер ордена Отечественной войны I степени. С контузией и тяжёлым ранением ноги эвакуирован на Урал. Длительное время после ампутации ноги лечился в госпитале № 3132 города Лысьвы.

Член Союза журналистов СССР, писатель. Окончил Молотовский государственный университет им. А. М. Горького, историко-филологический факультет (1951–1956). Ответственный секретарь газеты «Искра» (1956–1979) в Лысьве. В 1960-е вёл занятия с рабселькорами* по журналистскому мастерству. Участвовал в семинарах при Пермском отделении Союза писателей СССР, делегат съезда ПО СП СССР в Перми в 1962 году. Публиковался в областных газетах «Звезда» и «Молодая гвардия», в литературных альманахах. В Перми, в литературно-художественном сборнике «Молодой человек» (Пермское книжное издательство, 1962), напечатан его юмористический рассказ «Кулинария». В Свердловске вышла книга рассказов «Рула» (Средне-Уральское книжное издательство, 1966). В фонде редакции газеты «Искра» в Лысьве, кроме подшивки номеров, хранятся награды, альбомы с фотографиями, сделанными К. П. Максимовым, его машинописные тексты рассказов и повести «Это было недавно, это было давно» (в более позднем варианте — «Синие окна»).

Умер 7 мая 1986 года в городе Лысьве.

---

* Общее название для рабочих и сельских корреспондентов советских газет и журналов.

Литературно-художественное издание

том 37

Константин
МАКСИМОВ

СИНИЕ ОКНА

повесть, рассказы

Художник *Полина Ерёмина*

Авторы проекта *Надежда Вершинина, Владимир Якушев*
Корректор *Наталья Семукова*
Художественный редактор, дизайн серии, вёрстка *Светлана Неведомская*

Пермская краевая общественная (профессиональная) организация Союза писателей России
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 30
permsprossii@rambler.ru

Подписано в печать 22.05.2025 г. Формат 70x108 1/32.
Бумага ВХИ. Гарнитура NewtonC.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 12,6. Тираж 100 экз.
Заказ № 19770.

Отпечатано в соответствии с предоставленным оригинал-макетом в ООО «Универсальная типография «Альфа Принт», www.alfaprint24.ru, тел. 8-800-300-16-00.

37

антология
пермской
литературы

ISBN 978-5-6052610-2-5